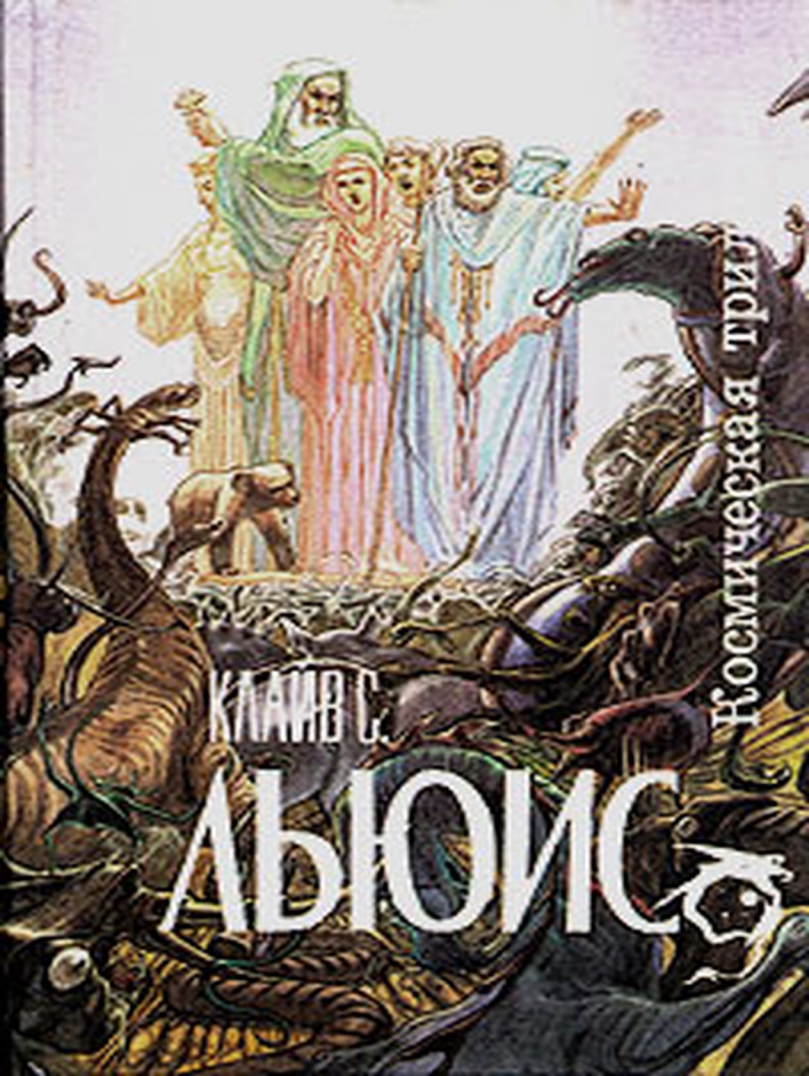
КЛАЙВ С.
ЛЬЮИС
Космическая трил

Переландра
Клайв Стейплз Льюис

Аннотация
Клайв Стейплз Льюис. Переландра
ГЛАВА 1
ГЛАВА 2
ГЛАВА 3
ГЛАВА 4
ГЛАВА 5
ГЛАВА 6
ГЛАВА 7
ГЛАВА 8
ГЛАВА 9
ГЛАВА 10
ГЛАВА 11
ГЛАВА 12
ГЛАВА 13
ГЛАВА 14
ГЛАВА 15
ГЛАВА 16
ГЛАВА 17

Аннотация

Д-р Рэнсом борется со злом на планете Переландре, на которую вторглись полчища пособников Дьявола.

Клайв Стейплз Льюис
Переландра

ГЛАВА 1

Я сошел с поезда у Вустера и отправился пешком к дому Рэнсома (до него было три мили), размышляя по дороге, что ни один из пассажиров, оставшихся на станции, не мог бы и вообразить, что повидал тот, к кому я иду. Унылая равнина — поселок был за ней, милях в трех к северу от станции — ничем не отличалась от других равнин. Сумрачное предвечернее небо было таким же, как всегда осенью. Редкие дома, купы красных и желтых деревьев — нигде ничего особенного. И вот, миновав эту тихую, скромную местность, я увижу того, кто побывал — и жил, и ел, и пил — в сорока миллионах миль отсюда, на планете, с которой Земля кажется крохотной зеленой искоркой, и разговаривал с существом, помнившим времена, когда здесь, у нас, еще никого не было.

На Марсе Рэнсом видел не только марсиан. Он встретил существ, которые называют себя эльдилами, и даже Великого Эльдила, который правит Марсом и зовется там Уарсой Малакандры. Эльдилы отличаются от тех, кто обитает на планетах. Их тело — если это тело — совсем иное, чем у нас

или у марсиан. Они не едят, не дышат, не рождаются, не умирают — словом, в этом они больше похожи на минералы, способные мыслить, чем на то, что мы назвали бы живым существом. Они часто появляются на планетах и, по нашим понятиям, живут там, но определить, где они, очень трудно. Сами они считают своим обиталищем космос («Глубокое Небо») и планеты для них — не миры, просто движущиеся точки, а то и разрывы в едином поле, которое мы называем Солнечной системой, они — Арболом.

Рэнсом вызвал меня телеграммой: «Если можете, приезжайте четверг важному делу». Я догадывался, какое это дело, и, хотя твердил себе, что провести вечер с Рэнсомом очень приятно, так и не смог избавиться от тревожных предчувствий. Тревожили меня эльдилы — к тому, что Рэнсом побывал на Марсе, я еще как-то притерпелся, но эльдилы, существа, чья жизнь практически бесконечна… Да и само путешествие не очень мне нравилось. Побывав в ином мире, поневоле изменишься, хотя и не скажешь точно, в чем. Когда речь идет о давнем друге, не так уж это приятно — прежние отношения восстановить нелегко. Но гораздо хуже другое: я все больше убеждался, что и тут, на Земле, эльдилы не оставляют его. Что-то

проскальзывало в его речи — случайный намек, порою жест, от которых он туг же неуклюже отнекивался. Словом, он общался с кем-то, у него… ну, кто-то бывал.

Я шел по пустынной неогороженной дороге, пересекавшей Вустерскую пустошь, и пытался прогнать дурные предчувствия, анализируя их. Чего, в конце концов, я боюсь? Едва я задал себе этот вопрос, я пожалел о нем. Меня поразило слово «боюсь». До сих пор я хотел убедить себя, что речь идет о неприязни, неловкости, на худой конец — скуке. Но вот я произнес «боюсь», и ощутил страх. Я боялся все время, именно боялся — и того, что встречу эльдилов, и того, что меня во что-то втянут. Наверное, все знают, как страшно «влипнуть» — ты просто думал, размышлял, и вдруг оказывается, что ты вступил в коммунистическую партию или вернулся в лоно Церкви, дверь захлопнулась, ты внутри, по ту сторону. Собственно, так случилось с Рэнсомом. Он попал на Марс (на Малакандру) помимо своей воли, почти случайно; другая недобрая случайность подключила к этой истории и меня. Нас все больше и больше втягивало в эту, с позволения сказать, межпланетную политику. Не знаю, сумею ли я вам объяснить, почему мне так не

хотелось знакомиться с эльдилами. Я не просто — и разумно — старался избежать чужих, могучих и очень мудрых созданий. Все, что я слышал о них, вынуждало соединить два представления, которые очень разделены, и это меня отпугивало. Мы привыкли относить не-человеческий разум либо к «научному», либо к «сверхъестественному». В одном настроении мы думаем о марсианах Уэллса (которые, кстати сказать, сильно отличаются от обитателей Малакандры), в другом — об ангелах, духах, феях и тому подобном. Но если эти существа реальны, граница между классами стирается, и вовсе исчезает, когда речь идет об эльдилах. Они не животные — в этом смысле они подпадут под вторую категорию, но у них есть некое подобие тела, которое (в принципе) можно зафиксировать научно; и в этом они относятся к первой группе. Перегородка между естественным

и сверхъестественным рухнула; и тут я узнал, как успокаивала она, как облегчала нам бремя странного мира, с которым мы вынуждены общаться, разделив его надвое, чтобы мы не думали о нем в его цельности. Другое дело, какую цену мы платим за этот покой — за путаницу в мыслях и ложное ощущение безопасности.

«Какая долгая, тоскливая дорога, — бормотал я. — Хорошо еще, что ничего не надо нести». Тут я вздрогнул, сообразив, что нести как раз надо — я ведь взял с собой вещи. Я чертыхнулся; значит, чемоданчик остался в поезде. Поверите ли, что сперва я решил вернуться на станцию «и что-нибудь сделать». Конечно, делать было нечего, я мог с тем же успехом позвонить от Рэнсома. Поезд с моим чемоданом так и так далеко ушел.

Теперь я понимаю это не хуже вас, но тогда мне казалось, что необходимо вернуться, и я повернул было, прежде чем разум или совесть побудили бы меня идти дальше. Туг я понял гораздо яснее, что идти вперед мне очень не хочется. Это было очень трудно, словно я шел против сильного ветра, хотя вечер был тихий — ни одна ветка не шевелилась — и спускался туман.

Чем дальше я шел, тем чаще все мои мысли обращались к эльдилам. Что, в самом деле, знает о них Рэнсом? Сам он говорил, что они почти не посещают Землю, а может быть, даже и вообще не бывали тут до его визита на Марс. У нас есть свои эльдилы, тылурииские, но они совсем иные и человеку враждебны. Собственно, потому наш мир и не общается с другими планетами. Мы — как бы в осаде, вернее — на территории, захва-

ченной теми эльдилами, которые враждебны и нам, и эльдилам «Глубоких Небес». Они кишат здесь, у нас, как микробы, и все отравляют, только их мы не видим потому, что они — слишком велики, а не слишком малы. Это из-за них, на самом деле, все у нас пошло не туда — произошло то злосчастное падение, в котором главный урок истории. Тогда мы должны радоваться, что светлые эльдилы прорвали линию обороны там, где орбита Луны — конечно, если Рэнсом все правильно рассказал.

Мерзкая мысль посетила меня — а что если Рэнсома обманули? Предположим, какая-то внешняя сила хочет захватить Землю; может ли она придумать лучшее прикрытие? Где хоть малое доказательство, что на Земле живут злые эльдилы? Мой друг, сам того не понимая, оказался мостиком для врага, троянским конем, с чьей помощью враг захватит Землю. И снова, как и тогда, когда я обнаружил, что нету багажа, мне захотелось вернуться. «Вернись, вернись, — как бы слышал я. — Пошлешь ему телеграмму, что болен, приедешь потом, да мало ли что!» Меня удивило, что это желание так сильно. Я остановился, постоял, запрещая себе всякие глупости, и когда снова двинулся вперед, подумал, не на-

чинается ли нервный приступ. Едва эта мысль пришла мне в голову, она стала очередным доводом против визита к Рэнсому — конечно, я не гожусь для странных дел, на которые намекала телеграмма. Я не должен был даже отлучаться из дому, разумно одно — поскорее вернуться и позвонить врачу, пока не начался самый приступ и не отказала память. Просто безумие идти дальше.

Я дошел до конца равнины и спускался вниз. Слева была роща, справа — покинутое здание какой-то фабрики. Внизу собирался туман. «Сперва они назовут это нервным приступом, — думал я, — а потом...» Вроде бы есть какое-то душевное заболевание, при котором страшно боятся самых обычных вещей — вот как я боюсь теперь заброшенного строения. Кучи цемента и странные кирпичные стены глядели на меня поверх сухой и пыльной травы, серых луж и сломанных рельсов. Такие вот странные штуки видел и Рэнсом на Марсе, только там они были живые. Гигантских пауков он называл сорнами. Хуже того — он считал их хорошими, гораздо лучше, чем мы, люди. Он с ними в заговоре! Кто знает, обманули его или нет... А что, как все гораздо хуже? Он сам гораздо хуже... И тут я снова остановился.

Читатель не знает Рэнсома и не сможет понять, как нелепа такая мысль. Даже в эту минуту здравая часть души моей прекрасно знала: если вся Вселенная безумна и враждебна, Рэнсом честен и здоров. Только это и вело меня вперед, но с каким трудом, с каким трудом! В глубине души я твердо верил, что каждый шаг приближает меня к другу, а чувствовал, что иду к врагу, к предателю, колдуну, заговорщику… иду, как дурак, прямо в ловушку. «Сперва это назовут нервным припадком, — продолжал тот же голос, — сперва тебя положат в больницу, а там и в сумасшедший дом».

Я миновал вымершую фабрику и окунулся в туман, в холод. Мимо меня что-то промелькнуло и меня пронзил такой бессмысленный и всепоглощающий ужас, что я чуть не вскрикнул. Это кошка перебежала дорогу; но силы совсем покинули меня, а мучитель внутри не унимался: «Скоро и впрямь закричишь, — говорил он. — Будешь вопить, вопить, вопить, и никогда не остановишься».

У края дороги стоял пустой дом с заколоченными окнами; только в одном окне блеснуло стекло, словно глаз дохлой рыбы. Обычно я думал о привидениях не больше, чем вы, — и не меньше,

пожалуй. Но теперь я чувствовал точно: в этом доме — призраки, привидения… нет, какое слово! Ребенок, и не слышавший его, содрогнется, если один взрослый скажет в сумерках другому: «А там есть привидения».

Наконец я добрался до перекрестка, где стояла часовня методистской церкви — отсюда я повернул бы налево, к березовой роще, и увидел бы свет в окнах Рэнсома, еще не настало время затемнения. Этого я не знал, часы у меня остановились. Вроде бы стемнело, но ведь был туман. Да я и не темноты боялся. Бывает же так, что вещи кажутся живыми, у них свое выражение лица, и вот, мне очень не нравилось лицо этой дороги. «Неправда, что сумасшедшие не чувствуют начала болезни», — продолжал все тот же голос. А что если именно здесь я и сойду с ума? Тогда, конечно, мне мерещится, что влажные от тумана стволы враждебно поджидают меня. Но это меня не утешило. Если ужас мерещится, он не легче, он страшнее, ведь с ним соединяется страх перед безумием, и оно само, и совсем уж чудовищное чувство: только те, кого называют сумасшедшими, видят истинный, ужасный лик мира.

Все это обрушилось на меня. Я шел сквозь холодную тьму и был почти уверен, что вхожу в

безумие. О здравомыслии я думал все хуже и хуже. Разве оно и раньше не было условностью, удобной ширмой, привычным самообманом, скрывавшим от нас чуждый и враждебный мир, в котором приходится жить? То, что я слышал за последние месяцы от Рэнсома, выходило за рамки «нормального», но я зашел далеко и не считал его рассказ вымыслом. Только вот правильно ли он все понял, был ли он вполне честен? Что же до тех, кого он видел, в них я не сомневался — в этих пфиффльтригах, и хроссах, и сорнах, и межпланетных эльдилах. Я не сомневался даже в том таинственном существе, которое эльдилы именуют Малельдилом и почитают, как никто не почитает земных владык. Я знал, кем считает его Рэнсом.

Показался дом, совсем темный. Я чуть не расплакался, как ребенок, — нет, почему Рэнсом не вышел меня встретить? Потом, совсем уж по-детски, я подумал, что он притаился в саду и вот-вот бросится на меня сзади. А может, я сам увижу его со спины, подойду, он обернется, а это — совсем и не человек.

Конечно, я не хотел бы рассказывать об этом подробно; я и вспоминаю-то все со стыдом, и не стал бы затягивать свой рассказ, но мне кажется,

что иначе не понять всего остального. Да я и не могу описать, как добрался до двери коттеджа. Страх и отвращение гнали меня прочь, я должен был пробить невидимую стену, я бился за каждый шаг, и снова едва не вскрикнул, когда лица моего коснулась ветка, — но все же вошел в сад и как-то добрался по дорожке до дома. Тут я стал стучаться, рвать ручку, звать Рэнсома, словно моя жизнь зависела от того, откроет он или нет.

Ответа не было, только эхо разносило мои вопли. На дверном молотке что-то белело. Я догадался, что это — записка, чиркнул спичкой, и увидел, как дрожат у меня руки, а когда спичка погасла, стало совсем темно. Чиркая спичками, я разобрал: «Простите, уехал в Кембридж. Вернусь последним поездом. Еда в буфете, постель — в вашей комнате. Если хотите, ужинайте без меня. Э. Р.». Меня опять отшвырнуло назад, словно бесы накинулись на меня: я еще свободен, путь открыт, только иди. Сейчас — или никогда. Так я и буду сидеть тут, ждать часами! Но едва я решился повернуть, как мне стало страшно. Неужели опять идти через березовую рощу? Теперь там совсем темно, а за спиной останется этот дом (глупо, но мне чудилось, что он погонится за мной). Потом в моей душе пробудились остатки верности и

здравого смысла — я не мог так подвести Рэнсома. По крайней мере, надо было проверить, открыта ли дверь. Я потянул — она открылась, и, сам не зная как, я оказался внутри, а она захлопнулась.

Там было темно и тепло. Я двинулся на ощупь, ударился обо что-то головой, упал и несколько минут сидел, потирая ушибленную ногу. Вроде бы я хорошо знал эту комнату — то ли гостиную, то ли холл — и понять не мог, на что же я здесь наткнулся. Наконец я нащупал в кармане спички, чиркнул, головка отлетела. Я затоптал ее, принюхался — не тлеет ли ковер, — и уловил странный, совершенно незнакомый запах. Он был ненормален, как запах любой «химии» в доме, но химикаты пахнут не так. Я снова зажег спичку — она почти тут же погасла, ведь я сел на коврике у самой двери, и даже в лучших коттеджах, чем у Рэнсома, у дверей обычно дует. Разглядел я только свою ладонь, изогнувшуюся в тщетной попытке укрыть крохотное пламя. Что ж, надо отойти от двери. Я несмело поднялся на ноги, попытался опять нащупать дорогу — и опять наткнулся на что-то гладкое и холодное. Коснувшись этого коленом, я понял, что запах идет отсюда, и пошел налево, нащупывая границы странного предмета. У него оказалось несколько граней, но я никак не

мог понять, какой же он формы. Это не стол, нет верхней крышки: я вел рукой вдоль низенькой стенки, и пальцы попали куда-то внутрь. Если бы эта штука была деревянной, я бы принял ее за большой ящик. Но это было не дерево. Сперва поверхность показалась мне влажной, потом я решил, что она просто холодная. Добравшись до края стенки, я снова чиркнул спичкой.

И увидел что-то белое, полупрозрачное, словно лед. Какая-то длинная, очень длинная штука, похожая на ящик, но странной, неприятной, вроде бы знакомой формы. Тут мог уместиться человек. Я отступил на шаг, поднял спичку повыше, чтобы разглядеть все разом, и тут же ударился обо что-то спиной. Снова закружил я в темноте, и упал не на ковер, а тоже на что-то холодное, со странным запахом. Сколько же тут понапихано всякой чертовщины?

Я хотел было подняться и как следует обшарить комнату — должна же где-то быть свечка, — как вдруг услышал имя Рэнсома и почти сразу — но не сразу — увидел то самое, что я так боялся встретить. Кто-то произнес: «Рэнсом», — но я бы не сказал, что слышу голос; на живой человеческий голос это было совсем не похоже. Слоги звучали чисто, даже красиво, но как-то, поймите меня,

мертво. Мы отличим голоса животных (в том числе — человека) от всех прочих звуков, хотя разницу нелегко определить. В любом голосе есть призвук крови и плоти — легких, горла, теплой и влажной полости рта. Здесь ничего этого не было. Два слога прозвучали так, словно нажали две клавиши, но звук не был и механическим. Машину создаст человек, а этот голос звучал так, словно заговорил камень, или кристалл, или луч света. Тут я вздрогнул, и так страшно, будто лез на скалу и потерял опору.

Таков был звук. А увидел я столб очень слабого, призрачного света. Кажется, ни на полу, ни на потолке не было светлого пятна. Столб этот едва освещал комнату — рядом, возле себя. Другие два его свойства объяснить труднее. Во-первых, цвет. Раз я его видел, я должен бы знать, белый он или какой иной, но никаким усилием памяти я не могу этого представить. Синий, золотой, красный, фиолетовый — нет, все не то. Просто не знаю, как может зрительное впечатление так быстро и безвозвратно изгладиться. Второе — угол наклона: столб света висел не под прямым углом к полу. Но это я позже догадался, тогда световая колонна показалась мне вертикальной, а вот пол уже не был горизонтальным, и вся комната накренилась,

словно палуба. Казалось, что «это» соотнесено с иной горизонталью, с иной пространственной системой, чья точка отсчета — вне Земли, и теперь навязывает мне эту, чуждую систему, отменяя земную горизонталь.

Я знал, что вижу эльдила — скорее всего, марсианского архонта, Уарсу Малакандры. Мерзкая паника исчезла, хотя теперь, когда все случилось, мне было не слишком-то уютно. Эта штука явственно не принадлежала к органическому миру, разум как-то разместился в однородном столбе света, но не был прикован к этому столбу, как наш разум прикован к мозгу и нервам — право же, думать об этом очень неприятно1! Это никак не умещалось в наши понятия. Я не мог ответить ему, словно живому существу, не мог и отмахнуться, как от предмета. Зато в этот миг исчезли все сомнения, терзавшие меня на пути, — я уже не гадал, враги ли нам эти существа, шпион ли Рэнсом, обманут ли он. Мною овладел иной страх: я знал, что эльдилы — «хорошие», но далеко не был уверен, что такое добро мне нравится. Вот это и впрямь было страшно. Пока вам грозит что-то плохое, вы можете надеяться, что «хорошие» вас спасут. А что если они гораздо хуже? Что если пища обернется отравой, в собственном доме вы

не сможете жить, и сам ваш утешитель окажется обидчиком? Тогда спасения нет, последняя карта бита. Вот в таком состоянии я провел секунду или две. Передо мной наконец предстал посланец того мира, который я вроде бы люблю, к которому стремлюсь, — и мне не понравился. Я хочу, чтобы его не было. Я хочу, чтобы нас разделила пропасть, непреодолимая бездна, или хоть занавеска. И все же я в бездну не бросился. Как ни странно, меня спасала и успокаивала моя беспомощность: я попался; борьба завершилась; не мне решать, что будет.

Новый звук донесся до меня, словно из иного мира, — скрипнула и растворилась дверь, прозвучали шаги, и на фоне серой ночи, заглянувшей в открытую дверь, я увидел Рэнсома. Столб света снова заговорил тем голосом, который голосом не был, и Рэнсом, остановившись, ответил ему. Оба они говорили на странном языке, я никогда прежде не слыхал этих многосложных слов. Я не пытаюсь оправдать то, что почувствовал, когда нечеловеческий голос обратился к моему другу и друг мой отвечал на нечеловеческом языке. Да, оправдать я не пытаюсь; но если вы не поверите, что я чувствовал именно это, вы не знаете ни истории, ни собственной души. Я ревновал, я

злился, я боялся. Я чуть не завопил: «Оставь ты своего приятеля, колдун проклятый! Посмотри на меня!»

А сказал я: «Слава Богу, Рэнсом. Наконец вы вернулись».

ГЛАВА 2

Дверь захлопнулась во второй раз за этот вечер, и Рэнсом почти сразу нащупал свечу. Оглядевшись при свете, я никого, кроме нас двоих, не увидел. Посреди комнаты стояла большая белая штука. Теперь я легко понял, что это — большой, похожий на гроб ящик без крышки. Крышка лежала рядом, о нее-то я и споткнулся. И ящик, и крышка были из чего-то белого, вроде льда, но менее яркого.

— Вот хорошо, что вы пришли! — сказал Рэнсом, пожимая мне руку. — Надеялся встретить вас на станции, но все перепугалось в такой спешке, и мне пришлось все-таки поехать в Кембридж. Я совсем не хотел, чтобы вы шли один по этой дороге. Наверное, он увидел, что я тупо смотрю на него, и прибавил:

— С вами все в порядке? Вы прошли через заграждение?

— Через заграждение?

— Я думаю, вам было не так-то легко сюда добраться.

— Вот как! — сказал я. — Значит, это не просто

нервы? Там и вправду что-то было?

— Ну да. Они не хотели пускать вас. Я этого боялся, но просто времени не было вам помочь, Я верил, что вы доберетесь.

— Они — это наши эльдилы? — Конечно. Они как-то узнают обо всем…

Я перебил его:

— По правде говоря, Рэнсом, меня это все больше тревожит. Когда я шел сюда, мне пришло в голову…

— Вам еще не то придет в голову, дайте им волю! — весело откликнулся Рэнсом. — Лучше всего не обращать на них внимания и делать свое дело. Не пытайтесь им возражать, им только и надо вовлечь вас в бесконечный спор.

— Послушайте, — сказал я, — это же не шутки. Вы вправду уверены, что есть этот темный князь, падший Уарса Земли? Вы уверены, что есть две стороны и знаете, какая из них — наша?

Он поглядел на меня — у него бывал такой взгляд, кроткий и в то же время грозный.

— А вы вправду сомневаетесь? — спросил он.

— Нет, — подумав, ответил я, и мне стало стыдно.

— Вот и хорошо, — обрадовался он. — Давайте поужинаем, и я вам все объясню.

— Зачем вам этот гроб? — спросил я, когда мы вошли в кухню.

— В нем я отправлюсь в путь.

— Рэнсом! — вскрикнул я. — Он… оно… эльдилы потащут вас снова на Марс?

— Потащут! — ответил он. — Ох, Льюис, ничего вы не понимаете. Если бы… да я бы отдал все, лишь бы снова заглянуть в те ущелья, где синяя-синяя вода плещет среди лесов. Или подняться наверх и увидеть сорна, скользящего по склону. Или оказаться там к вечеру, когда восходит Юпитер, яркий — глазам больно, а все астероиды — словно Млечный путь и каждая звездочка видна так же ясно, как с Земли — Венера. А запахи! Разве я смогу их забыть? Вы скажете, тоска должна находить ночью, когда восходит Марс — но нет, хуже всего в жаркий летний день, когда я гляжу в синюю бездну и знаю, что там, в глубине, за миллионы миль есть место, в котором я был, и никогда не буду, а там, на Мелдилорне цветут цветы и живут друзья, которые были бы мне рады. Нет. Такого счастья не будет. Меня посылают не на Малакандру, а на Переландру.

— Это Венера?

— Да.

— Что значит «посылают»?

— Помните, когда я улетал с Малакандры, Уарса сказал мне, что с моего путешествия может начаться новая эра в истории Арбола, Солнечной системы? Вероятно, сказал он, близится конец осаде, в которой мы живем.

— Да, помню.

— Похоже, так оно и есть. Во-первых, обе стороны, как вы их назвали, проявляют себя гораздо четче здесь, на Земле, в наших делах. Скажем так, они не скрывают флага.

— Согласен.

— А во-вторых, темный князь, наш падший Уарса, готовит нападение на Переландру.

— Разве Солнечная система открыта ему? Разве он может попасть на Венеру?

— В том-то и дело. Сам, в своем обычном образе, он туда попасть не может. За много веков до того, как тут, у нас, появилась жизнь, он был загнан в эти границы. Если он только покажется за пределами лунной орбиты, его опять загонят обратно, просто силой. Это была бы иная война и от нас с вами было бы не больше толку, чем от мухи при обороне Москвы. Нет. Он нападет на Переландру иначе.

— При чем же тут вы?

— Ну… меня посылают туда.

— Уарса?

— Нет. Приказ — из более высоких сфер. Впрочем, все повеления, так или иначе — Оттуда.

— Что ж вы должны там делать?

— Мне не сказали.

— Значит, вы в свите Уарсы?

— Как раз нет. Уарса там не останется. Он только доставит меня. А потом я, видимо, останусь один.

— Боже мой, Рэнсом! — начал я, и голос мне изменил.

— Да, да, — сказал он и улыбнулся своей обезоруживающей улыбкой. — Правда, нелепо? Доктор Элвин Рэнсом против Престолов и Господств! Мания величия, не иначе.

— Я не о том… — сказал я.

— О том, о том. Во всяком случае, я теперь так чувствую. Впрочем, что тут странного? Нам каждый день приходится это делать. Библия говорит о брани против начальств, против властей, против духов злобы поднебесной — перевод здесь, кстати, очень неточный, — и сражаться должны самые обычные люди.

— Да это же совсем другое дело! — возразил я. — Там речь идет о духовной брани.

Рэнсом откинул голову и рассмеялся.

— Ох, Льюис, Льюис, — воскликнул он, и что вы только скажете!

— Как вам угодно, Рэнсом, а разница есть…

— Есть, есть, но не такая. Каждый из нас должен сражаться, тут нет мании величия. Вот посмотрите — в нашей маленькой земной войне тоже сменяются разные фазы и каждый раз мы и думаем и ведем себя так, словно эта фаза не кончится, хотя на самом деле все меняется прямо под рукой. И опасности, и удачи в этом году — не те, что в прошлом. Вот и вам кажется, что обычные люди могут столкнуться с темными эльдилами только на нравственном, душевном уровне — борясь с искушением, к примеру, — но это верно только для определенной фазы в космической войне, для эры великой осады, которая и дала Земле имя Тулкандры, Безмолвной планеты. А что если это время подходит к концу? А что если каждый встретит силы тьмы… ну, по-другому.

— Ах, вон что…

— Только не думайте, что меня выбрали потому, что я какой-то особенный. Никогда не поймешь, почему нас избирают для того или другого дела. А если и узнаешь причину, она не даст пищи тщеславию. Нас избирают не за то, чем мы сами гордимся. Скорее всего, посылают именно

меня потому, что два негодяя, утащившие меня на Малакандру, дали мне возможность изучить язык. Конечно, это не входило в их планы.

— Какой язык?

— Хресса-хлаб. Язык, который я выучил на Малакандре.

— Неужели вы думаете, что на Венере говорят на этом языке?

— Разве я вам не сказал? — спросил Рэнсом, наклоняясь вперед. К этому времени мы уже доели холодное мясо, допили пиво и теперь пили чай. — Странно, ведь я докопался до этого два или три месяца тому назад. С научной точки зрения это — самое интересное. Мы ошибались, принимая хресса-хлаб за местный, марсианский язык. Правильнее было бы назвать его старосолярным, хлаб-эрибол-эф-корди.

— Господи, что это?

— Понимаете, раньше все разумные существа, обитавшие на планетах Солнечной системы говорили на одном языке (эльдилы называют эти планеты Нижним миром). Конечно, большинство из них необитаемы, хотя бы по нашим понятиям. Этот изначальный язык забыли в нашем мире, на Тулкандре, когда случилась беда. Ни один из земных языков не восходит к нему.

— А как же другие марсианские языки?

— Пока не знаю. Одно мне ясно, они намного моложе хресса-хлаба, особенно сурнибур, язык сорнов. Я думаю, это можно доказать лингвистически. Сурнибур, по марсианским стандартам, просто новее нового — он едва ли древней нашего Кембрия.

— Стало быть, вы рассчитываете, что на Венере знают хресса-хлаб?

— Да. Я приеду, зная язык. Так гораздо проще, хотя для филолога и скучнее.

— Вы же и понятия не имеете, что надо делать, в какой вы мир попадете!

— Что мне надо делать, я и правда не знаю. Понимаете, бывают такие дела, в которых важно ничего не знать заранее. Может быть, нужно будет что-то сказать, а это не прозвучит убедительно, если подготовишься. Что же до тамошнего мира, тут я немало знаю. Там тепло, мне велели раздеться. Астрономы еще ничего не выяснили о поверхности Переландры, у нее слишком плотная атмосфера. Главный вопрос — вращается ли она и с какой скоростью? В науке сейчас есть две гипотезы. Скьяпарелли считает, что Венера оборачивается вокруг своей оси за то же время, что и вокруг Арбола, простите — Солнца. Другие

думают, что она оборачивается за двадцать три часа. Это мне тоже предстоит выяснить.

Если ваш Скьяпарелли прав, то на одной стороне всегда светло, а на другой вечная ночь.

Рэнсом кивнул.

— Занятная граница… — сказал он, подумав. — Только представьте: вы входите в страну вечных сумерек, там все холоднее и холоднее, и вот вы уже не можете идти, воздуха не хватает. Интересно, можно ли встать на самой границе, на дневной стороне, и заглянуть в ночь? Оттуда, пожалуй, удалось бы увидеть несколько звезд — ведь из Дневного полушария их не видно. Конечно, если у них там высокая цивилизация, они изобрели водолазные костюмы, какие-нибудь подводные лодки на колесах, чтобы исследовать Ночную сторону.

Глаза у него сияли, и хотя я думал только о том, как трудно мне с ним расставаться и как мало надежды встретиться, я тоже заразился от него восторгом и тягой к знанию. Но тут он снова обратился ко мне:

— Вы еще не знаете, в чем ваша роль.

— Разве я тоже лечу? — спросил я, содрогнувшись совсем иначе.

— Ну что вы, что вы! Вы должны упаковать

меня сейчас и распаковать, когда я вернусь… если все обойдется.

— Упаковать вас? А, я и забыл про этот гроб! Как же вы собираетесь в нем путешествовать? Где двигатель? А воздух… еда, вода? Здесь едва хватит места для вас!

— Двигатель — сам Уарса Малакандры. Он просто доставит эту штуку на Венеру. не спрашивайте! Я понятия не имею, как он действует. Существо, которое миллионы лет вращает целую планету, как-нибудь справится.

— Что вы будете есть? Как вам дышать?

— Он сказал, что мне не понадобится ни еды, ни воздуха. Видимо, жизнь моя на время полета замрет. Я не совсем понял. Это, в конце концов, его забота.

— А вы не боитесь? — спросил я, и снова ощутил какой-то мерзкий ужас.

— Если вы спрашиваете, признает ли мой разум, что Уарса безопасно доставит меня на Переландру, я отвечу «да», — сказал Рэнсом. — Если же вас интересуют мои нервы и воображение, я, к сожалению, отвечу «нет». Мы верим в анестезию и все-таки нам страшно, когда маска приближается к лицу. Я чувствую примерно то, что чувствует солдат под обстрелом, сколько бы

он ни верил в будущую жизнь. Наверное, фронт был для меня хорошей практикой.

— Стало быть, я должен запереть вас в этой чертовой штуке? — спросил я.

— Да, — сказал Рэнсом. — Это во-первых. Когда взойдет Солнце, мы спустимся в сад и поищем такое место, где не мешали бы ни дом, ни деревья. Пожалуй, капустная грядка подойдет. Я лягу, закрою глаза повязкой — эти стенки не защитят меня от солнечных лучей, когда мы выйдем в открытый космос, — а вы завинтите крышку. Потом, наверное, вы увидите, как эта штука взлетит.

— А еще позже?

— Вот в этом и сложность. Вы должны вернуться сюда, как только вам сообщат, чтобы снять крышку и выпустить меня, когда я вернусь.

— Когда же вы вернетесь?

— Не знаю. Через полгода, через год, через двадцать лет. То-то и плохо. Я возлагаю на вас тяжелую ношу.

— А если я умру?

— Значит, найдите себе преемника — конечно, теперь, не откладывая. У вас ведь есть человек пять друзей, на которых можно положиться.

— Как же мне сообщат?

— Уарса предупредит вас. Вы не беспокойтесь, это ни с чем не спутаешь. И еще одно — навряд ли я вернусь раненым, но на всякий случай, если вы найдете врача, которого можно посвятить в тайну, лучше бы захватить и его.

— Хэмфри годится?

— Да, вполне. А теперь — другое, частное дело. Понимаете, я не могу включить вас в свое завещание.

— Господи, Рэнсом, да я никогда об этом не думал!

— Конечно. Но мне хотелось бы что-нибудь вам оставить, а я не могу. Я ведь исчезну. Если я не вернусь, начнется расследование, чего доброго, заподозрят убийство. Надо быть осторожнее, ради вас. А теперь я хотел бы уладить с вами другие мои дела.

Мы сели рядом и долго говорили о делах, которые обычно обсуждают с родственниками, а не с друзьями. Я узнал о Рэнсоме многое, чего не знал прежде, и такое множество неудачников он поручил моей заботе: «может, вам вдруг удастся что-нибудь для них сделать», — что я понял, как велико его милосердие и как он его скрывает. С каждым его словом тень предстоящей разлуки сгущалась, словно кладбищенский сумрак. Я с

любовью подмечал его привычные жесты, обороты речи — то, что мы всегда видим в любимой женщине, но в друге замечаем только перед разлукой или в последние часы перед тяжелой, опасной операцией. Есть вещи, в которые разум поверить не может. Я не мог представить себе, что человек, сидящий так близко от меня, такой очевидный и ощутимый, через несколько часов станет недостижимым, превратится лишь в образ, а там — и в тускнеющий образ моей памяти. Наконец оба мы смутились — каждый угадывал, что чувствует другой. Стало совсем холодно.

— Скоро отправимся, — сказал Рэнсом.

— Да ведь он… ну, Уарса — еще не вернулся, — возразил я, хотя, по правде говоря, теперь, когда это подошло вплотную, мне хотелось поторопиться, чтобы все было позади.

— Уарса и не покидал нас, — ответил Рэнсом, — он все время был в доме.

— Что же он, просто ждал нас, в той комнате?

— Он не ждал, они не знают, что это такое. Вы и я понимаем, что ждем, потому что у нас есть тело, оно устает. Кроме того, мы различаем работу и досуг, мы понимаем, что такое отдых. Уарса устроен иначе. Он был здесь много часов, но не ждал, не скучал. Нельзя же сказать, что чего-то

ждет дерево или рассвет на склоне холма. — Тут Рэнсом зевнул. — Я устал, — сказал он. — И вы устали. Ну, я-то хорошенько высплюсь в этом гробу. Идемте, пора собираться.

Мы вышли в соседнюю комнату, и Рэнсом велел мне встать перед безликим пламенем, которое не ждет, а только пребывает. Он как-то представил меня ему и был нам переводчиком, и я на своем языке поклялся служить ему в этом великом деле. Потом мы сняли с окон затемнение и впустили в дом серое, пасмурное утро. Вместе вынесли мы в сад и ящик, и крышку — холод обжигал нам руки. Ноги я промочил в тяжелой росе, усыпавшей траву. Эльдил был уже в саду, на маленькой лужайке. При утреннем свете я едва мог его разглядеть. Рэнсом показал мне, как закрыть задвижки на крышке ящика, прошло еще несколько долгих минут, и он отправился в дом, а вернулся обнаженным. Высокий, белокожий, дрожащий от холода — просто чучело какое-то — он опустился и свой ужасный ящик и протянул мне плотную черную повязку, чтобы я закрыл ему лицо. Потом он улегся. Я уже не думал о Венере и не верил, что он вернется. Если бы я посмел, я бы заставил его одуматься; но здесь был Другой — существо, не ведавшее ожидания, — и

я боялся. До сих пор вижу я в страшном сне, как закрываю ледяной крышкой гроб, где лежит живой человек, и отступаю назад. Я остался один. Я не видел, как он улетел. Я убежал в дом, мне стало плохо. Через несколько часов я закрыл дом и вернулся в Оксфорд.

Прошли месяцы, и год прошел, и несколько месяцев сверх года. Были бомбежки, и дурные вести, и гибель многих надежд, Земля преисполнилась тьмы и злобы — и тогда, в одну из ночей Уарса явился за мной. Мы с Хэмфри выехали поскорее, толкались в переполненном поезде, встречали рассвет на холодной станции, ожидая пересадки, и наконец ясным утром добрались до маленького, заросшего сорняками клочка земли, который прежде был садом Рэнсома. Черная точка появилась напротив Солнца; тот же ледяной ящик проскользнул между нами в полной тишине. Едва он коснулся земли, мы бросились к нему и сорвали крышку.

— Господи! Он разбился! — вскричал я, заглянув внутрь.

— Погодите, — остановил меня Хэмфри. Человек, лежавший в гробу, пошевелился, сел, стряхнул с лица и плеч ту алую массу, которую я было принял за раны и кровь, — и я увидел, как

ветер подхватывает и разносит лепестки цветов. Он поморгал, назвал каждого из нас по имени, пожал нам руки и ступил на траву.

— Как дела? — спросил он. — Что-то вы плохо выглядите. Я замер, дивясь тому новому Рэнсому, который вышел на свет из тесного ящика. Он был силен и здоров, он словно помолодел на десять лет. Два года назад он начинал седеть, а сейчас борода, спускавшаяся ему на грудь, отливала золотом.

— Да вы порезали ногу, — сказал Хэмфри. Тут и я заметил, что из пятки у него идет кровь.

— Однако и холодно у вас, — сказал Рэнсом. — Надеюсь, воду согрели? Хорошо бы принять душ, и одеться.

— Хэмфри обо всем позаботился, — сказал я, провожая его в дом. — Меня бы на это не хватило.

Рэнсом забрался в ванну, оставив дверь приоткрытой, клубы пара окутывали его, а мы переговаривались с ним из прихожей. У нас накопилось столько вопросов, что он не успевал отвечать.

— Скьяпарелли ошибся, — кричал он, — там есть и день, и ночь, как у нас. Пятка не болит… нет, вот сейчас заболела. Да любую старую одеж-

ду… ага, положите на стул. Нет, спасибо. Я не хочу ни яиц, ни бэкона. Фруктов нет? Неважно, поем хлеба или каши. — И наконец он крикнул: — Выхожу!

Он все спрашивал, здоровы ли мы, — ему почему-то казалось, что мы плохо выглядим. Я отправился за завтраком. Хэмфри задержался, чтобы осмотреть ранку на ноге. Он присоединился ко мне, когда я любовался алыми цветами.

— Красивый цветок, — сказал я, протягивая его Хэмфри.

— Да, — ответил Хэмфри, рассматривая его и ощупывая с жадностью натуралиста. — А нежный какой! Наша фиалка против него сорняк.

— Поставим их в воду.

— Не стоит. Они уже почти завяли.

— Как он там?

— Отменно. Только вот пятка мне не нравится. Он говорит, кровь идет очень давно.

Тут пришел и Рэнсом, совсем одетый, и я разлил чай. Весь день и почти всю ночь он рассказывал нам ту историю, к которой я теперь приступаю.

ГЛАВА 3

Рэнсом так и не объяснил нам, на что было похоже путешествие в летающем гробу. Он сказал, что это невозможно. Но странные намеки прорывались в разговорах на совсем другие темы.

По его словам, он был, как сказали бы мы, без сознания, однако что-то с ним происходило, что-то он чувствовал. Однажды кто-то из нас говорил, что надо «повидать жизнь», то есть побродить по миру, поглядеть на людей, а Б. (он антропософ) сказал, надо видеть жизнь совсем в другом смысле. Вероятно, он имел в виду какую-то систему медитации, при которой «сама жизнь предстает внутреннему взору». Во всяком случае, когда мы втянули его в длинный спор, Рэнсом признался, что и для него это значит что-то вполне определенное. Его так прижали, что он сознался: жизнь казалась ему тогда, в полете, чем-то «объемным и твердым». Его спросили, какого она цвета, но он странно взглянул на нас и пробормотал: «Вот именно, какой цвет!» — и все испортил, добавив: «Да это и не цвет. Мы бы не назвали это цветом», после чего не раскрывал рта до конца вечера.

В другой раз наш друг, шотландец Макфи, приверженец скептицизма, громил христианское учение о Воскресении тел. Я подвернулся ему под руку, и он донимал меня вопросами вроде: «Значит, у вас будут и зубы, и глотка, и кишки, хотя там нечего есть? И половые органы, хотя там нельзя совокупляться? Да уж, повеселитесь!» И тут Рэнсом взорвался: «Нет, какой осел! Вы что, не видите разницы между сверх-чувственным и бесчувственным?» Макфи, само собой, переключился на него; и тут выяснилось, что, по мнению Рэнсома, нынешние желания и возможности тела исчезнут не потому, что они атрофируются, а потому, что они будут «поглощены». Сперва он говорил о «поглощении» пола, потом стал искать подходящее слово для нового отношения к еде (отбросив транс— и пара-гастрономию) и, поскольку не он один был филологом, все стали искать такие термины. Но я уверен, что он испытал что-то в этом роде на пути к Венере. А самым загадочным, пожалуй, было вот что: однажды, расспрашивая его — он редко мне это позволял, — я неосторожно заметил: «Конечно, все было слишком смутно, этого не передашь словами», — и он меня резко перебил, хотя вообще он человек на редкость терпеливый. Он сказал:

«Нет, это слова расплывчатые. Я не могу ничего описать, потому что все было слишком четким и определенным». Вот и все, что я могу рассказать вам о самом полете. Одно ясно — он изменился гораздо больше, чем после Марса. Но может быть, тому причиной события, произошедшие уже на самой Венере.

Теперь я перейду к тому, что Рэнсом мне рассказал. Видимо, он пробудился от того неописуемого состояния и почувствовал, что падает, — значит, он уже приблизился к Венере настолько, что она стала для него «низом». Один бок у него замерз, другому было слишком жарко, но ни то ни другое ощущение не причиняло боли. Вскоре он вообще об этом забыл — снизу, сквозь полупрозрачные стенки сочился изумительный белый свет. Он все нарастал, начал беспокоить, несмотря на защищавшую глаза повязку. Конечно, это светилось альбедо — внешний слой очень густой атмосферы, отражающий и усиливающий солнечные лучи. Почему-то — в отличие от Марса — вес его вроде бы не увеличился. Едва белое свечение стало почти невыносимым, оно исчезло, а жар и холод сменились ровным теплом. Вероятно, он вошел во внешние слои атмосферы — сперва в бледные, потом в цветные сумерки. Насколько

он различал сквозь прозрачные стенки, главным цветом был золотой или медный. К этому времени он был совсем низко, ящик спускался стоймя, словно лифт, под прямым углом к поверхности. Падать вот так, беспомощно, когда не можешь пошевелить рукой, было страшно. Вдруг он попал в зеленую тьму, пронизанную неясным шумом — первым звуком из нового мира. Стало холодно. Он снова лежал и, к великому своему удивлению, двигался уже не вниз, а вверх — сперва он принял это за обман воображения. Видимо, уже давно, сам того не замечая, он пытался пошевелить рукой или ногой, и только теперь увидел, что стены его темницы поддаются. Он уже мог двигать руками и ногами, хотя и застревал в чем-то мягком. Куда он попал? Ощущения были очень странные. То его несло вверх, то вниз, то по какой-то зыбкой поверхности. Мягкая материя была белая, ее становилось все меньше… какое-то облако в форме ящика, совсем не плотное. Вдруг он с ужасом догадался, что это и есть ящик — тот испаряется, исчезает, а за ним проступает невообразимая мешанина красок, пестрый многообразный мир, где вроде бы нет ничего устойчивого. Ящик исчез. Что ж, значит, доставили — выбросили — покинули. Он — на Переландре.

Сперва он разглядел только странную перекосившуюся поверхность, словно на неудавшемся снимке. Странный откос маячил перед ним лишь мгновение, сменился другим, два откоса столкнулись, гора взлетела вверх, обрушилась и разровнялась. Потом поверхность превратилась в край большого сверкающего холма и холм этот устремился навстречу Рэнсому. Он снова почувствовал, что поднимается, и поднимается все выше, к золотому куполу, заменявшему небо. Он достиг вершины, но успел лишь глянуть в огромный дол, простиравшийся под ним, — сияющий, зеленый, словно трава, с мраморными пятнами пены — и вновь он падал вниз, пролетая милю в две минуты. Наконец он ощутил блаженную прохладу, в которую погружено его тело, и понял, что ноги ни во что не упираются, а он, сам того не зная, плывет. Он мчался верхом на океанском гребне, лишенном пены, холодном и свежем после небесной жары, хотя по земным понятиям вода была совсем теплая, словно в песчаном заливе, где-нибудь в тропиках. Мягко съезжая с высокого гребня и поднимаясь на новую гору, Рэнсом нечаянно хлебнул воды — она оказалась не соленой, пригодной для питья, но не такой безвкусной, как наша пресная. До тех пор он не

чувствовал жажды, но тут ему стало приятно, да так, словно он впервые узнал само удовольствие. Он погрузил разгоряченное лицо в зеленую светлую воду и, когда снова поднял голову, опять был на гребне высокой волны.

Земли нигде не было. Небо было чистое, ровное, золотое, как средневековая картина. Оно казалось очень высоким — такими высокими видятся с Земли серебристые облака. Океан тоже был золотым, но его испещряли тени, и вершины волн, зажженные небесным светом, казались золотыми, но склоны были зеленые, сперва прозрачные, а понизу — бутылочные, и даже синие в тени других волн.

Все это Рэнсом увидел в одно мгновение — и покатился вниз. Он как-то перевернулся на спину. Теперь он глядел на золотую крышу этого мира. В небе быстро сменялись дрожащие отблески более бледных цветов — так бегут блики по потолку ванной, когда в солнечный день вы ступаете в воду. Рэнсом понял, что это — отражение несших его волн. На Венере, планете любви, эти блики можно видеть почти каждый день. Царица морей созерцает себя в небесном зеркале.

И вновь он на гребне, земли все не видно. Далеко слева плотные облака — или корабли? Вниз,

вниз, снова вниз — конца этому нет. На сей раз он ощутил, какой здесь расплывчатый свет. Такая теплая вода, такое славное купание на Земле бывает только при ярком свете Солнца. Но здесь все иначе. Вода сияла, небо горело золотом, но все это смягчала и окутывала дымка — он любовался этим светом, не щурясь. Сами цвета — зелень, золото — которыми он назвал те краски, слишком резки, жестки для нежного, изменчивого сияния, для этого теплого, матерински ласкового мира. Да, мир тут теплый, как летний полдень, прекрасный, словно заря, и по-вечернему кроткий. Этот мир прекрасен — так прекрасен, что Рэнсом глубоко вздохнул.

На этот раз он испугался нависшей над ним волны. Мы на Земле болтаем о «волнах, величиной с гору», хотя этим волнам не под силу перехлестнуть и мачту. А вот тут и вправду была морская гора. На суше ушел бы почти весь день, чтобы забраться на такую вершину. Волна вобрала Рэнсома и вознесла его ввысь за несколько секунд. Но еще не достигнув вершины, он вскрикнул в испуге — на самом верху волны его ждала не гладкая поверхность, а какой-то фантастический гребень — странные, громоздкие, неуклюжие и острые выступы, вроде бы даже не жидкие. Что

это, пена? Скалы? Морские чудовища? Гадать ему было некогда — он столкнулся с этим, невольно закрыл глаза и снова почувствовал, что летит вниз. Что бы это ни было, оно позади. Но ведь что-то было, оно ударило его по лицу. Он ощупал лицо; крови не было. Значит, он столкнулся с чем-то мягким, оно не поранило, только хлестнуло, и то потому, что он мчался слишком быстро. Он вновь повернулся на спину — к этому времени очередной гребень уже поднял его вверх на несколько тысяч футов. Глубоко под ним на миг открылась долина, и он увидел что-то неровное в изгибах и впадинах, разноцветное, вроде лоскутного одеяла, изумрудное, ярко-желтое, оранжевое, розовое, голубое. Что это, Рэнсом понять не смог. Во всяком случае, оно плавало — поднялось на гребень соседней волны и теперь, миновав вершину, скрылось. Оно плотно, словно кожа, прижималось к поверхности воды, изгибаясь и искривляясь вместе с ней. Поднимаясь на гребень, оно принимало форму волны, так что какое-то мгновение Рэнсом еще видел одну половину, а другая уже соскользнула по ту сторону гребня. Словом, эта штука вела себя так, как вела бы циновка, которая движется вместе с водой и сморщивается, когда вы гребете мимо,

и по воде идет рябь. Только размеры тут были посущественней, акров тридцать.

Наши слова слишком медлительны — вы, наверное, уже и не ощущаете, что Рэнсом в нашем рассказе пробыл на Венере не более пяти минут. Он не успел устать и не начал тревожиться, как ему выжить в этом мире. Он вполне доверял тем, кто отправил его сюда, а пока что свежесть воды и свободные движения тела сами по себе были удовольствием и удовольствием новым — я уже пытался указать на одну особенность этого мира, которую так трудно передать словами: каким-то образом удовольствие испытывал он весь, впитывал всеми своими чувствами. Придется назвать это удовольствие «крайним», а то и «чрезмерным»; ведь сам Рэнсом говорит, что в первые дни на Переландре он не то чтобы стыдился, но все же удивлялся, почему он стыда не чувствует, — каждый миг доставлял здесь такое большое и необычайное удовольствие, какое по земным меркам связано либо с запретными, либо уж с очень странными утехами. И все же этот мир был не только нежным и сладостным, он был и сильным, и грозным. Едва плавучая штука исчезла из виду, как в глаза Рэнсому хлынул невыносимо резкий свет. Свет был темно-синий,

небо на его фоне потемнело, и в тот же миг Рэнсому удалось разом увидеть большее пространство, чем видел он до сих пор. Он увидел бесконечную пустыню волн и далеко-далеко, на краю этого мира, у самого неба — одинокую призрачно-зеленую колонну. Только она была вертикальной, устойчивой, неподвижной в этой череде изменчивых холмов. Затем на небо вернулся богатый красками сумрак — теперь, после вспышки света, он скорее походил на тьму — и донесся раскат грома. Звучал он совсем иначе, нежели земной гром, — глубже, богаче, даже словно бы звонче. Небо здесь не ревело — оно хохотало, веселилось. Рэнсом увидел еще одну молнию, потом еще одну, и ливень обрушился на него. Между ним и небом встали огромные лиловые тучи, и тут же, сразу хлынул невиданный дождь — не капли и не струи — сплошная вода, чуть менее плотная, чем в океане, он едва мог дышать. Молнии сверкали непрерывно и при их свете Рэнсом видел совсем иной мир. Он словно попал в самый центр радуги или в облако многоцветного пара. Вода, вытеснившая воздух, обратила и море, и небо в прозрачный хаос, наполненный вспышками и росчерками молний. Рэнсом почти ослеп и немного испугался. При свете молний он видел,

как и прежде, безбрежное море и неподвижный зеленый столб на краю света. Земли не было нигде — ни признака земли от горизонта до горизонта.

Грохот грома оглушал его, все трудней становилось дышать. С неба вместе с дождем сыпались какие-то странные штуки, вроде бы живые. Они были похожи на лягушат, но очень изящных и нежных — просто высшая раса лягушек — и пестрели, словно стрекозы, но Рэнсому некогда было их разглядывать. Он уже устал, особенно от буйства красок. Он не знал, как долго все это длилось; когда он снова смог наблюдать, волнение уже успокаивалось. Ему показалось, что он достиг границы морских гор и глядит с последней горы в спокойную долину. Однако до этой долины он добрался нескоро: то, что по сравнению с теми, первыми волнами, казалось спокойным морем, на самом деле, когда он достиг этого места, обернулось пусть меньшими волнами, но все же немалыми. Вокруг плавало много тех странных плавучих штук. Издали они казались цепью островов, вблизи больше походили на флот — тем более что им приходилось преодолевать сопротивление волн. Все же шторм успокаивался, дождь утих. Волны были теперь не выше, чем в

Атлантическом океане. Радуга ослабела, стала прозрачнее, и сквозь нее тихо проглянуло золотое небо — золото проступило вновь во всю ширь, от горизонта до горизонта. Еще меньше стали волны. Теперь он дышал свободно. Но он уже по-настоящему устал; непосредственные впечатления отступили, освободилось место для страха.

Одна из плавучих заплат скользила по волне в сотне ярдов от Рэнсома. Он следил за ней с большим интересом, надеясь взобраться на один из плавучих островов и отдохнуть. Он испугался, что эти острова окажутся просто кучей водорослей или кронами подводных деревьев, которым не выдержать его веса. Но не успел он додумать эту мысль, как тот самый остров, на который он смотрел, поднялся на гребне волны, и Рэнсом смог разглядеть его на фоне неба. Он не был ровным, с рыжевато-коричневой поверхности поднимались вверх какие-то столбики самой разной высоты, и легкие, и громоздкие, темные на мягком сиянии золотого неба. Все они накренились в одну сторону, когда островок изогнулся, переползая гребень волны, и вместе с островом исчезли из виду. Тут же в тридцати ярдах от Рэнсома появился другой остров, этот плыл в его сторону. Рэнсом поспешил к нему, чувствуя, как

ослабели и почти болят руки — и впервые испугался по-настоящему. Приблизившись к острову, он разглядел вокруг него бахрому несомненно растительного происхождения — остров тащил за собой темно-красный хвост из пузырей, трубочек и переплетающихся шнуров. Рэнсом попытался за него ухватиться, но он был еще не так близко. Он поплыл скорее, еще скорее — остров уходил от него, удаляясь со скоростью десяти миль в час. Снова ухватился он за какие-то тонкие красные нити, но они выскользнули, едва не порезав ему руку. Тогда он рванулся в самую гущу водорослей, слепо пытаясь ухватиться за все, что болталось перед ним, и попал в какое-то густое варево — трубочки булькали, пузыри то и дело взрывались. Потом руки нащупали что-то покрепче, вроде очень мягкой древесины. Наконец еле дыша, оцарапав колено, он упал на пружинившую под ним поверхность, приподнялся, прополз немного вперед. Да, теперь бояться было нечего — эта земля держала его, здесь он был в безопасности.

Наверное, он довольно долго пролежал на животе, ничего не делая и ни о чем не заботясь. Во всяком случае, к тому времени, когда он вновь поднял голову и стал замечать, что его окружало, он вполне отдохнул. Лежал он на сухой земле,

покрытой чем-то вроде вереска, только медного цвета. Он рассеянно потрогал это — верхняя часть крошилась, как сухая земля, но сразу под хрупкой поверхностью он нащупал туго переплетенные нити. Он перевернулся на спину. Что-то пружинило, сопротивлялось, и гораздо сильнее, чем эластичный вереск, словно весь остров — вроде матраса, покрытого растительным ковром. Снова повернувшись, Рэнсом посмотрел вглубь острова. То, что он увидел, сперва было похоже на обычный кусок земли: длинная долина, внизу — бронзовая, по бокам защищенная холмами, на которых рос многоцветный лес. Но едва он взглянул на эту равнину, как она, прямо перед ним, превратилась в медный склон, и многоцветный лес заструился вниз по этой новой горе. Он был к такому готов, но в первый миг зрелище все же потрясло его. Ведь долина сперва показалась ему нормальной — он забыл, что он плывет, что плывет весь остров с горами и долинами, которые каждую минуту меняются местами, так что карту высот и впадин можно изобразить только на кинопленке. Таковы плавучие острова Переландры — фотография, обедняя краски, исключая вечную смену форм, явила бы нам что-то похожее на земной пейзаж, но на самом деле острова совсем

другие: поверхность их суха и плодородна, как твердая земля, а форма все время меняется вместе с водой, по которой они плывут. К этому трудно привыкнуть, с виду они так похожи на обычную землю. Разумом Рэнсом уже все понял, но ни мускулы, ни нервы привыкнуть не могли. Он встал — сделал несколько шагов под гору — и растянулся на животе. Поверхность острова была мягкой, он не ушибся, поднялся… — и увидел перед собой уже подымающийся холм… шагнул… снова упал. Напряжение, сжимавшее его с той минуты, как он прибыл на Переландру, наконец отпустило, и он рассмеялся. Хохоча, как школьник, катался он по мягкой поверхности своего острова.

Наконец он успокоился. Часа два он учился ходить. Это оказалось потруднее, чем ходить по палубе — в любую качку сама палуба по крайней мере остается ровной. Ходить по этому острову — все равно, что ходить по воде. Несколько часов потребовалось ему, чтобы отойти от края острова на сотню ярдов, и он был горд, когда сумел пройти подряд целых пять шагов — раскинув руки, сгибая колени, боясь потерять равновесие. Напряженное тело дрожало, словно он учился ходить по канату. Пожалуй, он скорее научился бы, если бы падать было не так мягко и приятно,

а упавши, он долго лежал, глядя вверх, на золотой купол, и впитывал спокойный, неумолкающий шорох воды, тонкие запахи трав. А как забавно, скатившись в небольшую впадину, открыть глаза и оказаться на вершине главной горы всего острова, откуда, словно Робинзон, он мог смотреть вниз на поля и леса! Ему хотелось посидеть так еще несколько минут, но остров вновь увлекал его вниз, горы и долины стирались, превращаясь в одну большую равнину.

Наконец он добрался до леса. Здесь были какие-то кусты, высотой с крыжовник, цветом напоминавшие водоросли. Над кустами высились деревья, серые и лиловые, а густые ветви образовали крышу над головой, золотую, серебряную и синюю. Здесь он мог опираться о стволы, идти стало легче. И запахи здесь были необычные — нельзя просто сказать, что они пробудили в нем голод или жажду, скорее они превратили голод и жажду в какое-то новое чувство, которое из тела проникало в душу, не тревожа, а радуя ее. То и дело он останавливался, упирался руками в ствол и вдыхал благоухание — здесь даже это казалось каким-то священным обрядом. Лес все время менялся, и его разнообразия хватило бы на дюжину земных пейзажей: то ровный край,

где деревья стоят вертикально, как башни, то провал, где должна бы течь лесная река, то лес бежит вниз по склону, то оказывается на вершине горы и между стволами можно увидеть океан. В тишине звучал только размеренный голос волн. Ощущение одиночества стало здесь более ясным, но к нему не примешивалась тревога — может быть, романтическое уединение необходимо для того, чтобы впитать все неземные чудеса. Рэнсом боялся лишь самого себя — иногда ему казалось, что здесь, на Переландре, есть что-то непостижимое и невыносимое для человеческого разума.

Он добрался до той части леса, где с деревьев свисали большие желтые шары, по форме да и по размеру напоминавшие воздушный шар. Он сорвал один, покрутил — кожура была гладкая и твердая, он никак не мог ее надорвать. Вдруг в каком-то месте его палец проткнул кожуру и ушел глубоко в мякоть. Подумав, он попробовал глотать из отверстия. Он собирался сделать самый маленький глоток, для пробы, но вкус плода тут же избавил его от всякой осторожности. Это был именно вкус — точно так же, как голод и жажда были именно голодом и жаждой — и он настолько отличался от любого земного «вкуса», что само это слово казалось пустым. Ему

открылся новый род удовольствий, неведомых людям, непривычных, почти невозможных. За каплю этого сока на Земле правитель изменил бы народу и страны бы начали войну. Объяснить, определить этот вкус, вернувшись на Землю, Рэнсом не мог — он не знал даже, сладкий он был или острый, солоноватый или пряный, резкий или мягкий. «Не то… не то…» — только и отвечал на все наши догадки. А тогда он уронил пустую кожуру и собирался взять вторую, но вдруг почувствовал, что не хочет ни пить, ни есть. Ему просто хотелось еще раз испытать наслаждение, очень сильное, почти духовное. Разум — или то, что мы называем разумом — настоятельно советовал отведать еще один плод, ведь удовольствие было детски-невинным, а он уже столько пережил и не знал, что его ждет. И все же что-то противилось «разуму». Что именно? Трудно предположить, что сопротивлялось чувство — какое же чувство, какая воля отвернется от такого наслаждения? По почему-то он ощущал, что лучше не трогать второй плод. Быть может, то, что он пережил, так полноценно, что повторение только опошлило бы его. Нельзя же слушать два раза подряд одну и ту же симфонию. Так он стоял, дивясь, как часто там, на Земле, стремился к удовольствию

по велению разума, а не по велению голода и жажды. Тем временем свет стал меняться — позади становилось темнее, впереди сияние неба и моря тоже стало не таким ярким. На Земле он выбирался бы из лесу не больше минуты; здесь, на колеблющемся острове, это заняло несколько минут, и когда он вышел на открытое место, он увидел поистине фантастическое зрелище.

В течение дня золотое небо совершенно не менялось, и он не угадал бы, где именно Солнце. Но сейчас половина неба была озарена. Солнца он по-прежнему не мог разглядеть, но, опираясь на океан, встала арка зеленого света — Рэнсом не глядел на нее, блеск слепил глаза, а над зеленой дугой до самого неба поднимался многоцветный веер, раскрытый, словно хвост павлина. Море успокоилось, с поверхности вод к небу поднимались утесы и странные, тяжелые клубы синего и красного пара, а легкий, радостный ветер принялся играть волосами Рэнсома. День угасал, волны становились все ниже и наконец вправду наступила тишина. Он сидел, поджав ноги, на берегу острова, как одинокий царь посреди всего этого великолепия. Впервые он подумал, что попал, быть может, в необитаемый мир, но тревога только усилила, обострила блаженство.

И вновь он удивился тому, чего мог ожидать: он провел весь день обнаженным, среди летних плодов, на мягкой и теплой траве — а теперь должен был наступить мягкий и серый летний вечер. Но прежде чем фантастические краски померкли на Западе, Восток уже стал глухо-черным. Еще несколько мгновений, и тьма покрыла западную половину неба. Красноватый свет чуть помедлил в зените, и Рэнсом успел отползти к лесу. Как говорится, «было так темно, что ни зги не видно». Едва он добрался до деревьев и лег, наступила ночь — непроглядная тьма, больше похожая не на ночь, а на погреб для угля. Он мог поднести к лицу руку и все же не разглядеть ее. Эта неизмеримая, непроницаемая тьма просто давила ему на глаза. Не было ни Луны, ни звезд на прежде золотом небе, но и во тьме было тепло. Он различал новые запахи. Размеры у этого мира исчезли, остались лишь границы собственного тела да клочок травы, на котором он лежал, мягко покачивающийся гамак. Ночь укрыла его своим одеялом, избавила от одиночества. Так спокойно он мог бы заснуть в своей комнате на Земле. И сон пришел к нему — упал, как падает созревший плод, едва тронешь ветку.

ГЛАВА 4

Когда Рэнсом проснулся, с ним произошло то, что может случиться с человеком разве что в чужом мире: он явь принял за сон. Открыв глаза, он увидел причудливое, как на гербе, дерево с золотыми плодами и серебряными листьями. Корни ярко-синего ствола обвивал небольшой дракон, чешуя его отливала червонным золотом. Несомненно, это был сад Гесперид. «Какой яркий сон», — подумал Рэнсом, и понял, что уже не спит. Но покой и причудливость сна продолжались в этом видении, и ему не хотелось окончательно просыпаться. Он вспоминал, как совсем в другом мире — древнем, холодном мире Малакандры — он повстречал прототип Циклопа, великана-пастуха, обитателя пещер. Может ли быть, что земные мифы рассеяны по другим мирам и здесь они — правда? Тут он подумал: «Да ты совсем один, голый, беспомощный, в чужом мире, а это животное может оказаться опасным», — но не испугался. Он знал, что земные хищники в космосе — исключение, и он находил ласковый прием у куда более странных существ. На всякий случай

он остался лежать, потихоньку рассматривая дракона. Тот был похож на ящерицу, ростом с сенбернара, с чешуйками на спине. Дракон смотрел на него.

Рэнсом приподнялся на локте. Дракон все глядел на него. Теперь Рэнсом ощутил, что земля под ним — совершенно ровная. Тогда он сел и увидел между стволами спокойное, неподвижное море. Океан превратился в позолоченное стекло. Рэнсом снова взглянул на дракона. Может ли он быть разумной тварью — хнау, как говорят на Марсе, — той самой, для встречи с которой он и послан? Не похоже, но попробовать надо. Рэнсом произнес первую фразу на старосолярном, и собственный голос показался ему чужим.

— Незнакомец, — сказал он, — я послан в ваш мир из Глубоких Небес слугами Малельдила. Примешь ли ты меня?

Дракон уставился на него — пристально и, быть может, мудро. Потом он прикрыл глаза. Рэнсому это не очень понравилось. Он решил встать. Дракон глаза открыл. С полминуты Рэнсом глядел на него, не зная, как быть дальше. Потом он увидел, что дракон медленно разворачивается. Стоять было трудно, но что поделаешь — разумно это существо или нет, от него не убежать. Дракон

отлепился от дерева, встряхнулся и развернул два блестящих сине-золотых крыла, похожих на крылья летучей мыши. Он встряхнул ими, снова сложил их, снова уставился на Рэнсома и — то ползком, то как-то ковыляя — направился к берегу. Там он сунул в воду вытянутую и металлически-блестящую морду, напился, вновь поднял голову, и довольно мелодично, хотя и хрипловато, заблеял. Потом он обернулся, опять взглянул на Рэнсома и направился к нему. «Просто глупо его ждать», — нашептывал здравый смысл, но Рэнсом, сцепив зубы, остался стоять. Дракон подошел и ткнулся холодным носом ему в колени. Рэнсом совсем растерялся: может быть, дракон разумен и это его речь? А может, ищет ласки — но как его приласкать? Попробуйте-ка погладить такое чешуйчатое существо! А что как оно просто чешется о его колени? И тут дракон вроде бы забыл о Рэнсоме, внезапно, как бывает у животных, — отошел и принялся с жадностью есть траву. Чувствуя, что честь удовлетворена, Рэнсом повернул в лес.

С деревьев свешивались плоды, которые он уже отведал на Переландре, но внимание его привлекло что-то странное чуть впереди. В темной листве серо-зеленых зарослей что-то сверкало. Сперва

ему показалось, что это похоже на оранжерею, освещенную солнцем; когда он пригляделся, он увидел, что стекло как бы движется, словно какая-то сила вбирает и выпускает свет. Он пошел вперед, чтобы выяснить, что же там происходит, как вдруг что-то холодное прикоснулось к его левой ноге. Дракон шел за ним. Он тыкался в него носом и ластился к нему. Рэнсом ускорил шаги — дракон тоже; он остановился — и дракон остановился. Он снова пошел вперед, дракон неотступно следовал за ним, и так близко, что бок его то и дело прижимался к бедру Рэнсома. Порой он даже наступал ему на ногу холодной и тяжелой лапой. Рэнсому все это не нравилось и он уже подумывал, как бы положить этому конец, как вдруг его отвлекло открывшееся перед ним зрелище. Над его головой с мохнатой ветви свисал огромный шар, полупрозрачный и сияющий. Шар вбирал и отражал свет, а по окраске был похож на радугу. Значит, это и было то «стекло», которое ему померещилось в лесу. Оглядевшись, Рэнсом увидел множество таких же шаров. Он стал рассматривать один шар — сперва ему казалось, что тот подвижен, потом он понял, что нет. Вполне естественно, он поднял руку и коснулся его. В ту же минуту голову его и руки, и плечи об-

дал ледяной душ — ну, хотя бы холодный в таком теплом мире, — и он ощутил пронзительный, дивно-прекрасный запах, который напомнил ему строку из Поупа о розе: «благоуханной смертью умирает». Душ освежил его, и ему показалось, что до сих пор он толком и не проснулся. Открыв глаза (ведь он невольно зажмурился, когда хлынула вода) он увидел, что все цвета стали ярче и насыщенней, будто развеялась дымка, окутывавшая этот мир. Чары овладели им снова. Золотой дракон у его ног не был уже ни опасным, ни назойливым. Если нагой человек и мудрый дракон — единственные обитатели плавучего рая, все правильно; ведь сейчас ему казалось, что это — не приключение, а воплощенный миф, а сам он — один из персонажей неземной истории. Куда как лучше!

Он снова повернулся к дереву. Плода, обдавшего его водой, уже не было. Ветка, похожая на тюбик, заканчивалась не шаром, а маленьким дрожащим устьицем, из которого выдавилась кристаллическая капелька. Рэнсом растерянно огляделся, в роще было еще много радужных плодов, и он вновь уловил какое-то движение. Теперь он знал его причину: все эти сияющие шары понемногу росли и тихо лопались, оставляя на

земле влажное пятно, которое быстро высыхало, а в воздухе — прохладу и тонкий дивный запах. Собственно, это были не плоды, просто пузыри; а Пузырчатые Деревья (так он решил их назвать) качали воду из океана. Вода выходила наружу в форме шара, окрасившись соком, пока она шла по дереву. Рэнсом уселся, чтобы насладиться зрелищем. Теперь, когда он понял тайну леса, он мог объяснить, почему тот не похож на все остальное. Если внимательно следить за пузырем, можно было увидеть, как из устьица появляется обычная почка размером с грушу, надувается и наконец лопается; но если воспринять лес как целое, ощутишь только легкую игру света, слабый звук, нарушавший тишину Переландры, и свежесть, прохладу, влажность здешнего воздуха. По земным понятиям здесь человек был «на воздухе» больше, чем в любом другом месте, даже у моря. Над головой Рэнсома повисла целая гроздь пузырей. Он мог бы подняться и окунуться в них, еще раз принять волшебный прохладный душ, только раз в десять сильнее. Но что-то удержало его, то самое, что помешало ему вчера попробовать второй плод. Он недолюбливал людей, вызывающих певца на бис. («Ну это же все портит!» — объяснял он.) Сейчас ему показалось, что это

бывает не только в театре, и значит немало. Люди снова и снова требуют чего-то, словно жизнь — это фильм, который можно крутить заново и даже задом наперед. Уж не здесь ли корень всех зол? Нет, корень зол — сребролюбие… Но ведь и деньги мы ценим потому, что они защищают от случайности, позволяют снова и снова получать одно и то же, удерживают кинопленку на месте.

Тут ему пришлось прервать размышления: что-то тяжелое навалилось ему на ноги. Дракон улегся и положил ему на колени длинную тяжелую голову. «Знаешь, — сказал он дракону по-английски, — ты мне, однако, очень надоел». Дракон не шевельнулся. Тогда он решил как-то с ним поладить, провел рукой по жесткой голове, но загадочный зверь не откликнулся. Рука скользнула ниже, нащупала мягкое место, просвет в чешуе. Ага! Ему нравится, когда его здесь чешут. Дракон удовлетворенно заворчал и, высунув длинный и толстый серовато-черный язык, лизнул ласкавшую его руку. Потом он опрокинулся навзничь, подставляя почти белое брюхо, и Рэнсом принялся чесать его пальцами ног. Отношения складывались неплохо, и дракон наконец заснул.

Тогда Рэнсом поднялся и еще раз принял душ

под Пузырчатым Деревом. Теперь он совсем проснулся, ему захотелось есть. Он забыл, где видел вчера желтые плоды, и отправился их искать. Идти почему-то было трудно, он даже подумал, не могли ли пузыри одурманить его, но, приглядевшись, понял, в чем дело: равнина, покрытая медным вереском, поднялась прямо на глазах, превратилась в холм, а тот покатился к нему. Он вновь застыл на месте, все еще изумляясь, что земля катится к нему, будто волна, зазевался— и упал. Поднявшись, он пошел осторожнее. Теперь он уже не сомневался: море разыгралось. Две соседние рощи отбежали к разным склонам горы, и в просвете между ними Рэнсом увидел колеблющуюся воду, да и ветер уже ерошил ему волосы. Покачиваясь, он направился к берегу, но по дороге ему встретились какие-то кусты с зелеными овальными ягодами, раза в три больше, чем миндаль. Он сорвал одну, разломил — она была суховата, вроде хлебной мякоти или банана, и довольно вкусна. Тут не было поразительного, почти избыточного наслаждения, как в желтых плодах, просто удовольствие, как от обычной пищи — поешь и сыт, — «спокойное и трезвенное чувство». Так и казалось — во всяком случае, Рэнсому казалось, — что над такой едой надо про-

честь благодарственную молитву; и он прочитал ее. Желтые плоды требовали оратории или мистического созерцания. Но и в этой еде оказались нежданные радости: порой попадался плод с ярко-красной сердцевиной, и такой вкусный, такой особенный, что Рэнсом готов был ничего другого и не есть, и стал выискивать эти ягоды, но в третий раз тут, на Переландре, «внутренний голос» воспретил ему. «А на Земле, — думал он, — уж придумали бы, как выводить такие, красные, и они стоили бы гораздо дороже других». Да, деньги помогают вызвать на бис, и так громко, что никто не смеет ослушаться.

Он поел и пошел вниз, к берегу, чтобы запить ягоды, но прежде, чем он добрался до моря, ему пришлось идти вверх. Остров изогнулся, превратился в светлую долину между двумя волнами и, когда Рэнсом лег на живот и вытянул губы, чтобы напиться, он удивился, что пьет из моря, которое выше берега. Потом он немного посидел на берегу, шевеля ногами красные водоросли, окаймлявшие этот клочок земли. Его все больше удивляло, что здесь никого нет. Зачем его отправили сюда? На миг пришла в голову дикая мысль — а вдруг этот необитаемый мир создан для него, чтобы он стал основателем, первопроходцем?

Странно, что долгое одиночество почти не тревожило его. А как испугала его в свое время одна только ночь на Малакандре! Подумав, он решил: разница в том, что на Марс он попал случайно — по крайней мере, с его точки зрения, — а здесь он включен в замысел. Здесь он не безучастен, здесь он не смотрит со стороны.

Остров взбирался на гладкие горы мягко светившейся воды, и в эти минуты Рэнсом мог разглядеть множество соседних островов. Они отличались друг от друга цветом, да так, что он такого и не видывал. Огромные цветные ковры кружили вокруг, и толпились, будто яхты, непогодой собранные в гавань, и деревья на них все время накренялись то в одну, то в другую сторону, словно настоящие мачты. Он долго дивился тому, как ярко-зеленый или бархатно-розовый край соседнего острова вползает на волну, зависает над головой — и вдруг весь клочок суши разворачивается, словно ковер, спускаясь с водяного склона волны. Иногда его остров и кто-нибудь из соседей оказывались по разные стороны одной и той же волны, только узкая полоска воды у гребня разделяли их, и на миг все это становилось похожим на земной пейзаж, словно ты очутился на лесной поляне, пересеченной ручьем. Но пока он любо-

вался этой земной картинкой, ручей совершал то, чего никогда не бывает с ручьями на Земле, — он поднимался вверх, и клочки суши скатывались вниз по обе стороны. А вода все поднималась, пока половина сложившейся было суши не исчезла за гребнем — и вместо реки Рэнсом снова видел высокую изогнутую спину злато-зеленой волны, вздыбившуюся до небес и угрожавшую поглотить его остров, который, прогнувшись, превратившись в долину, откатывался вниз, в объятия следующей волны, чтобы, вознесясь вместе с ней, снова превратиться в гору.

Тут его поразил какой-то грохот и скрежет. На миг ему показалось, что он вновь перенесся в Европу, и над его головой кружит самолет. Потом он увидел своего приятеля-дракона. Вытянув хвост, будто огромный крылатый червь, тот летел к соседнему острову. Следя глазами за его полетом, Рэнсом разглядел две стаи каких-то крылатых существ, слева и справа. Вытянувшись в две черные черты на фоне золотого неба, они спешили к тому же острову. Вглядевшись, Рэнсом понял, что это летят птицы, а тут и переменившийся ветер донес до него мелодичное чириканье. Птицы эти были чуть-чуть крупнее земного лебедя. Они так устремление спешили к острову, к которому на-

правлялся дракон, что Рэнсому стало любопытно и даже показалось, что и он с нетерпением чего-то ждет. Изумление усилилось, когда он разглядел, что в море что-то движется — вода кипела и сбивалась в пену, и пена эта стремилась к тому же острову, целое стадо каких-то морских животных спешило туда. Рэнсом поднялся на ноги, — тут высокая волна загородила от него остров, но через минуту он снова разглядел торопливо плывших к острову животных. Сейчас он смотрел на них с высоты в несколько сотен фугов. Все они были серебристые, все усердно работали хвостами. Снова они исчезли из виду, и Рэнсом даже выругался. В этом неторопливом мире все это казалось очень значимым. Ага! Вон они. Да, это рыбы. Очень большие, толстые, вроде дельфинов. Они вытянулись двумя цепочками, некоторые пускали целые фонтаны радужной воды. Впереди плыл вожак. Он показался Рэнсому немного странным, у него был какой-то выступ на спине. Если бы хоть минуту, чтобы как следует вглядеться! Рыбы уже подплывали к острову, и птицы спускались, чтобы встретить их у берега. Снова Рэнсом увидел вожака со странным выступом на спине. Снова не поверил своим глазам — но уже бежал к самой кромке острова, громко вопя и размахивая рука-

ми. В тот самый миг, когда вожак подплывал к соседнему острову, остров поднялся на волне, и Рэнсом увидел его на фоне неба, четко и ясно он разглядел очертания фигуры на спине вожака. Это был человек. Теперь, сойдя со спины вожака, он ступил на берег, обернулся, слегка поклонился рыбе и вместе со всем островом, перевалившим за гребень волны, исчез из виду. Рэнсом ждал, пока остров покажется снова, сердце у него часто билось. Вот он! На этот раз — ниже, а не между Рэнсомом и небом. Но человека не видно. На миг отчаяние пронзило Рэнсома. Потом он все-таки разглядел темную фигурку — человек удалялся от него к роще синеватых деревьев. Рэнсом подпрыгивал, размахивал руками, орал, пока не сорвал голос, но человек не замечал его. То и дело он скрывался из виду, когда же Рэнсому снова удавалось его разглядеть, он боялся, что это только обман зрения, какое-нибудь дерево, скопление листьев, которые лишь в мучительном нетерпении кажутся человеком. И всякий раз прежде, чем он успевал отчаяться, он снова отчетливо различал этот силуэт; но глаза уже начинали уставать. Рэнсом понял, что чем больше он будет вглядываться, тем меньше увидит.

Наконец от усталости он опустился на землю.

До сих пор одиночество почти не пугало его, теперь оно стало невыносимым. Он больше не мог оставаться один. Вся красота, весь восторг его исчезли — стоило этому человеку пропасть из виду, и мир превращался в кошмар, в ловушку, в камеру, где он безысходно заперт. Он боялся, что начинается галлюцинация. Он боялся, что обречен навеки жить в одиночестве на этом отвратительном острове. Он будет один, но ему все время будут мерещиться люди, с распростертыми объятиями, с улыбкой на устах, и они исчезнут, едва он к ним приблизится. Он уронил голову на руки, стиснул зубы и попытался привести мысли в порядок. Сперва он слышал только свое тяжелое дыхание и удары сердца, потом ему все-таки удалось взять себя в руки. И тогда его осенило — чтобы привлечь внимание существа, похожего на человека, надо просто подождать, пока остров поднимется на гребне волны, и тогда встать во весь рост, чтобы тот увидел его на фоне неба.

Трижды ждал Рэнсом, пока его остров превратится в гору, поднимался, покачиваясь, снова размахивал руками. На четвертый раз он добился своего. В это время соседний остров лежал под ним, словно долина. Он увидел, как черная фигурка помахала ему в ответ. Человек отступил от

сине-зеленых деревьев, на фоне которых его было так трудно разглядеть, и побежал через оранжевую лужайку навстречу Рэнсому, к самому краю своего острова. Он бежал легко, словно привык к зыбкой почве. Тут снова остров Рэнсома ринулся вниз, — немного назад, и огромная волна разделила два клочка суши, так что на миг другой остров исчез из виду. Потом, почти сразу, Рэнсом увидел снизу оранжевый остров, медленно сползавший к нему по склону волны. Человек все еще бежал, пролив между островами был теперь не шире тридцать ярдов, и Рэнсома отделяло от него примерно сто ярдов. Теперь он видел, что это не просто человекообразное существо, — это самый настоящий человек. Зеленый человек в оранжевом поле, — зеленый, как летние жуки в английском саду, — все еще бежал по склону горы навстречу Рэнсому, бежал легко и очень быстро. Море тем временем подняло остров Рэнсома и зеленый человек стал крохотным где-то далеко внизу, как актер, когда его видишь с галерки. Рэнсом стоял на самом краю своего острова, напряженно глядя вперед и все время окликая того, другого. Зеленый человек задрал голову. Видимо, он что-то кричал, приложив ко рту сложенные раструбом руки, но шум моря поглощал все слова,

а остров Рэнсома снова летел вниз, в расщелину между двумя волнами, и высокий зеленый гребень волны укрыл от него соседний остров. От этого можно было свихнуться, — он испугался, ему казалось, что волны относят острова все дальше друг от друга. Слава Богу, оранжевая земля вновь показалась на гребне волны и, вместе с волной, пошла вниз. Незнакомец стоял теперь на самом берегу, глядя прямо на Рэнсома. Глаза его сияли любовью и радостью, но тут же лицо это резко изменилось, на нем проступило удивление, разочарование, и Рэнсом, тоже огорчаясь, понял, что его принимали за кого-то другого. Не к нему бежал зеленый человек, не ему махал рукой и что-то кричал. И еще одно он успел рассмотреть: это не мужчина, а Женщина.

Нелегко сказать, почему это так его удивило. Раз на этой планете жили люди, он мог повстречать и женщину, и мужчину. Но он удивился — так удивился, что два острова вновь отдалились друг от друга, скатившись в долины по разные стороны волны, когда он понял, что ничего не сказал, только по-дурацки таращился на эту Женщину. Теперь она исчезла из виду, и его пожирали сомнения. Неужели он послан ради этого? Он ожидал чудес, он был готов к чуду — но

не к какой-то зеленой богине, словно вырезанной из малахита, и все же живой. Тут он вспомнил — он почти не заметил этого, когда глядел на нее, — что ее сопровождала странная свита. Будто дерево над кустарником, она высилась над целой толпой существ — больших голубино-сизых и огненно-красных птиц, драконов, крохотных бобров, каких-то геральдических рыб. А может, ему померещилось? Может, это — начало галлюцинации, которой он боялся, или миф, ворвавшийся в мир фактов и более страшный, чем мифы о Цирцее и Алкионе? Какое у нее выражение лица!.. Чего же она ждала, если встреча с ним так ее разочаровала?

Снова показался другой остров. Да, животные есть, они ему не померещились. Они окружали ее рядов в десять, а то и в двадцать, и все глядели на нее, большей частью — не двигаясь, хотя кое-кто и пробирался на свое место, бесшумно и учтиво, словно на торжественной церемонии. Птицы сидели длинной цепочкой, к ним тихо подлетали новые. Из чащи Пузырчатых деревьев шли к Женщине несколько длинных коротконогих свинок, вроде поросячьей таксы. Маленькие лягушки, которые прежде падали вместе с дождем, скакали вокруг нее, порой достигая головы и опускаясь

ей на плечи; цвет их был так ярок, что сперва Рэнсом принял их за зимородков. Она стояла, спокойно глядя на него. Руки ее висели вдоль тела, ноги были сдвинуты, взгляд не говорил ни о чем. Рэнсом решил обратиться к ней на старосолярном языке. «Я из другого мира», — начал он, и остановился. Зеленая Женщина сделала то, чего он никак не ожидал, — подняла руку и указала на него, словно приглашая всю эту живность им полюбоваться. В тот же миг лицо ее изменилось, и он подумал было, что она вот-вот заплачет, но она засмеялась, и смеялась, пока не согнулась от хохота, держась одной рукой за колено, а другой все указывая на него. Свита ее смутно понимала, что началось веселье, как поняли бы наши собаки, и на него откликнулась: кто махал крыльями, кто фыркал и поднимался на задние лапы. А Зеленая Женщина все смеялась, пока новая волна не разлучила их.

Рэнсом просто оторопел. Неужели эльдилы перенесли его в этот мир, чтобы он встретил здесь идиотку? А может, это злой дух, издевающийся над людьми? Или все-таки призрак, галлюцинация? Тут он понял (надо признаться, гораздо быстрее, чем понял бы я на его месте), что женщина не сумасшедшая — это он, Рэнсом, смешон.

Он оглядел себя. Ноги и впрямь смешные, одна — красно-коричневая, как у тициановского сатира, другая — почти безжизненно бледная. Он попытался осмотреть и бока — то же самое, полосы, память о странствии через космос, когда Солнце поджаривало его только с одной стороны. Значит, над этим она смеется? Сперва он обозлился на существо, для которого встреча двух миров — какой-то смешной пустяк. Потом все-таки засмеялся над собой — нечего сказать, весело начинаются его похождения на Переландре! Он-то готовился к испытаниям, а его встречают сперва досадой, потом смехом… Ага! Вот и остров — и Зеленая Женщина на нем.

Она уже отсмеялась и спокойно сидела на берегу, свесив ноги в воду и рассеянно поглаживая зверька, похожего на газель, который тыкался носом ей в локоть. Глядя на нее, трудно было поверить, что она только что хохотала. Казалось, она сидела вот так всю свою жизнь. Рэнсому не доводилось видеть такое спокойное, такое неземное лицо, хотя все черты его были вполне человеческими. Потом он понял, почему оно показалось ему странным — в нем совершенно не было той покорности, которая здесь, у нас, как-то хоть немного соединяется с полным и глубоким

покоем. Вот затишье — но перед ним не бушевала буря. То, что Рэнсом видел на этом лице, могло быть слабоумием, могло быть бессмертием, могло быть чем угодно, но на Земле такого нет. Странная, страшная мысль пришла ему в голову: на древней Малакандре он повстречал существ, чей внешний вид и отдаленно не напоминал человека, но когда он познакомился с ними поближе, они оказались и приветливыми, и разумными. Под чуждой оболочкой билось человеческое сердце. Что ждет его здесь? Теперь он понимал, что слово «человек» не означает определенную форму тела или даже разум — оно связано и с той общностью крови и памяти, которая объединяет всех людей на земле. Это существо не принадлежало к его роду — никакая ветвь родословного древа, пусть самая отдаленная, не соединяла его с Зеленой Женщиной. В этом смысле в ней не было ни капли «человеческой крови». Ее род и род человеческий созданы отдельно и независимо друг от друга.

Все эти мысли пронеслись в его уме, и резкая смена освещения прервала их. Сперва ему показалось, что это сама Женщина стала синей и засияла каким-то электрическим светом. Потом он заметил, что в синеву и пурпур окрасился весь

остров — а острова уже снова относило друг от друга. Он поглядел на небо. Вокруг него сиял многоцветный веер краткого венерианского вечера. Через несколько минут наступит ночь, и волны разлучат их. Медленно произнося слова древнего наречия, он заговорил с Женщиной.

— Я чужеземец, — сказал он. — Я пришел к вам с миром. Позволите ли вы мне перебраться на ваш остров?

Зеленая Женщина с любопытством взглянула на него.

— Что такое «мир»? — спросила она.

Рэнсом чуть не приплясывал от нетерпения. Становилось все темнее и расстояние между островами явно увеличивалось. Только он хотел заговорить, как большая волна поднялась между ними, и снова тот остров исчез из виду. Над ним повисла волна, лиловая в лучах заката, и он увидел, что небо по ту сторону волны уже совсем черное. Соседний остров, далеко внизу, уже окутывали сумерки. Рэнсом бросился в воду. Не так-то легко было отцепиться от поросшего водорослями берега, но ему это удалось, и он поплыл вперед. Тут же волна отбросила его назад к красным зарослям на берегу. Проборовшись несколько мгновений, он снова освободился от

них, быстро поплыл — и тут, без всякого предупреждения, на море пала ночь. Он все еще плыл, хотя не надеялся не только добраться до того острова, но и просто спастись. Огромные волны сменяли друг друга, не давая ему понять, куда именно он плывет. Только случай помог бы ему найти хоть какую-нибудь землю. Судя по тому, сколько времени он уже был в воде, он плыл не к соседнему острову, а вдоль разделявшего их пролива. Он попытался сменить курс, передумал, попытался снова плыть, как плыл раньше, — и, окончательно запутавшись, уже совершенно не понимал, куда и как он плывет. Он уговаривал себя, что нельзя терять голову, но уже устал и даже не пытался держаться какого-либо курса. Вдруг, когда прошло уже немало времени, какие-то водоросли скользнули вдоль его бока. Он ухватился за них, подтянулся, уловил в темноте благоухание цветов и фруктов. Он подтягивал и подтягивал тело к берегу, хотя руки очень болели. Наконец, тяжело дыша, он рухнул на безопасную, благоуханную, сухую, тихонько волнующуюся землю плавучего острова.

ГЛАВА 5

Видимо, Рэнсом заснул, едва выбрался на берег, потому что больше он ничего не помнил до тех пор, пока его не разбудил голос птицы. Открыв глаза, он увидел и саму птицу — длинноногую, вроде миниатюрного аиста, только пела она как канарейка. Свет был дневной, такой яркий, какой может быть на Переландре, и в предчувствии славных приключений Рэнсом быстро присел, а там и поднялся на ноги. Раскинув руки, он огляделся. Он был не на оранжевом острове, а на том самом, где жил с тех пор, как попал на Переландру. Стоял мертвый штиль, и дойти до берега не составило никакого труда. Там он замер от удивления: остров, на котором жила Зеленая Женщина, плыл рядом с ним, всего в пяти шагах. Весь мир вокруг него изменился. Моря нигде не было, со всех сторон — только плоские острова, поросшие лесом. Десять или двенадцать островов на время соединились. На том берегу, отделенная от него узкой расщелиной, показалась Зеленая Женщина. Она шла, чуть наклонив голову, что-то плела из голубых цветов и тихо напевала, а когда

Рэнсом окликнул ее, остановилась и поглядела ему в глаза.

— Вчера я была молодая, — начала она, но Рэнсом едва разобрал ее слова. Теперь, когда они встретились, он был совершенно потрясен. Поймите меня правильно. Его потрясло совсем не то, что женщина, как и он сам, была совершенно голой. И похоть, и стыд были слишком далеки от этого мира; если он и стеснялся своего тела, то не из-за различия полов — просто он знал, что он сам все-таки смешон и неловок. Зеленый цвет ее кожи не отпугивал его — напротив, в ее собственном мире этот цвет был и красив, и уместен; это его тело, с одного бока — тускло-белое, с другого — почти красное — казалось здесь уродливым. Нет, у него не было особых причин смущаться, и все же что-то сбивало его с толку. И он попросил ее, чтобы она повторила свои слова.

— Вчера, когда я над тобой смеялась, я была еще молодая, — повторила она. — Я не знала, что в вашем мире люди не любят, когда над ними смеются.

— Молодая?

— Да.

— А сегодня ты уже не молодая?

На минуту она задумалась, так глубоко, что

цветы незаметно выпали у нее из рук.

— Теперь я поняла, — сказала она наконец. — Странно говорить про себя, что ты сейчас молодая. Но ведь завтра я стану старше. И тогда я скажу, что была сегодня молодой. Ты прав. Ты принес мне большую мудрость, Пятнистый.

— Какую мудрость?

— Теперь я знаю, что можно глядеть и вперед, и назад, и все — разное: одно, когда приближается, другое — когда уже здесь, и третье — когда ушло. Как волна.

— Со вчерашнего дня ты не могла стать намного старше.

— Откуда ты знаешь?

— Одна ночь — это не так уж много, — объяснил Рэнсом.

Она снова задумалась, заговорила, и лицо ее снова засияло.

— Вот, поняла, — сказала она. — Ты думаешь, у времени есть длина. Ночь — всегда только одна ночь, что бы ты за это время ни сделал, как до этого дерева столько шагов, быстро идешь или медленно. Вообще-то это правда. Но ведь от волны до волны всегда одно расстояние. Ты пришел из мудрого мира… если это мудрость. Я никогда не выходила из жизни, чтобы поглядеть на себя

со стороны, как будто я неживая. А в вашем мире все так делают, Пятнистый?

— Что ты знаешь о других мирах? — спросил Рэнсом.

— Вот, что я знаю: над крышей нашего мира — Глубокие Небеса, самая высь. А наш, нижний мир — не плоский, как нам кажется, — она повела рукой вокруг себя, — он соткан в маленькие шарики, в такие кусочки этого, нижнего, и они плывут в вышине. На самых старых и больших есть то, чего мы не видели, да и не сумели бы понять. А на молодых Малельдил поселил таких, как мы — тех, кто рождается и дышит.

— Откуда ты это узнала? Крыша вашего мира слишком плотна. Ваш народ не мог увидеть сквозь нее ни Глубокие Небеса, ни другие миры.

До сих пор ее лицо оставалось серьезным, теперь она захлопала в ладоши, улыбнулась, и улыбка преобразила се. Здесь, у нас, так улыбаются дети, а в ней не было ничего детского.

— А, поняла! — сказала она. — Я опять стала старше. У вашего мира крыши нет. Вы смотрите прямо вверх, вы просто видите Великий Танец. Вы так и живете в страхе и радости, вы — видите, а мы только верим. Как прекрасно все устроил Малельдил! Когда я была молодая, я не могла

представить себе другую красоту, кроме нашей. А он выдумывает столько разного!

— А я вот удивляюсь, — сказал Рэнсом, — что ты совсем такая же. Ты совершенно похожа на женщин моего мира. Этого я не ожидал. Я побывал еще в одном мире, кроме моего, и разумные существа там не похожи ни на тебя, ни на меня.

— Что же тут странного?

— Не понимаю, как могли в разных мирах появиться одинаковые существа. Ведь на разных деревьях не растут одни и те же плоды?

— Но ведь тот, другой мир старше вашего, — сказала она.

— Откуда ты знаешь? — удивился он.

— Малельдил сказал мне сейчас, — отвечала она. Когда она произносила эти слова, мир вокруг нее изменился, хотя никакие наши чувства не уловили бы разницы. Свет был приглушен, воздух мягок, все тело Рэнсома купалось в блаженстве, но сад, в котором он стоял, внезапно заполнился до отказа, невыносимая тяжесть легла ему на плечи, ноги подкосились, и он почти упал на песок.

— Я вижу все это, — продолжала Женщина. — Вот большие пушистые существа, и белые великаны — как их?.. — сорны, и синие реки. Хорошо бы увидеть их просто глазами, потро-

гать!.. Ведь больше таких существ не будет. Они остались только в старых мирах.

— Почему? — шепотом спросил Рэнсом, не сводя с нее глаз.

— Тебе это знать, не мне, — ответила она. — Разве не в вашем мире это случилось?

— Что именно?

— Я думала, ты мне расскажешь, — удивилась теперь она.

— О чем ты? — спросил он.

— В вашем мире Малельдил впервые принял этот образ, — объяснила она, — образ нашего рода, твоего и моего.

— Ты это знаешь? — резко спросил он. Чувства его поймет тот, кто когда-то видел прекрасный, слишком прекрасный сон, и всей душой хотел проснуться.

— Да, я знаю. Пока мы говорили, Малельдил сделал меня старше. — Такого лица, какое было у нее в ту минуту, Рэнсому никогда не приходилось видеть, и он не мог смотреть на нее. Он совсем уж не понимал, что же это с ним случилось. Оба помолчали. Прежде чем заговорить, он спустился к воде и с жадностью напился.

— Госпожа моя, — спросил он наконец, — почему ты сказала, что те существа остались только в

древних мирах?

— Разве ты такой молодой? — удивилась она. — Как же им родиться теперь? С тех пор, как Тот, Кого мы любим, стал человеком, разум не может принять другого облика. Неужели ты не понимаешь? То — миновало. Время течет, течет — и вот, будто повернуло, а за поворотом — все уже совсем новое. Время назад не идет.

— Как может такой маленький мир стать Поворотом?

— Я не понимаю. У нас поворот от величины не зависит.

— А ты знаешь, — не сразу спросил Рэнсом, — почему Он стал человеком в моем мире?

Пока они так говорили, он не решался поднять глаз, и ответ ее прозвучал словно с высоты, где-то над ним. «Да, — сказал голос, — знаю. Но это не то, что знаешь ты. Причин было много, одну я знаю, но не могу тебе сказать, а другую знаешь ты, и не можешь сказать мне».

— И теперь, — заключил Рэнсом, — будут только люди.

— Ты как будто огорчен.

— Я думаю, что разума у меня не больше, чем у животного, — сказал Рэнсом. — Я сам не понимаю, что говорю. Мне понравились пушистые

существа там, в старом мире, на Малакандре. Они уже не нужны? Неужели для Глубоких Небес они — только старый хлам?

— Я не знаю, что такое «хлам», — отвечала она. — Я не понимаю, о чем ты говоришь. Ты же не думаешь о них хуже оттого, что они появились раньше, а теперь уже не появятся? У них — свои времена, не эти. Мы — по одну сторону волны, они — по другую. Все начинается заново.

Труднее всего было, что он не всегда понимал, с кем именно разговаривает, — потому (или не потому), что так и не решился поднять глаза. Теперь он хотел кончить разговор. Он мог бы сказать: «Ну, с меня хватит», — не в пошлом, смешном смысле этих слов, а в самом прямом, просто «хватит», словно ты вволю наелся или выспался. Час назад ему было бы трудно это сказать, а теперь он естественно произнес:

— Я не хочу больше говорить. А вот перебраться на ваш остров я хотел бы. Тогда мы могли бы встретиться снова, если нам заблагорассудится.

— Какой остров ты называешь моим? — спросила она.

— Тот, на котором ты стоишь, — ответил Рэнсом. — Какой же еще?

— Иди сюда, — сказала она, одним движением

охватив весь мир вокруг себя, словно она — хозяйка этого дома. Он шагнул в воду и выбрался на тот берег. Потом он поклонился — неуклюже, как любой современный мужчина, — и пошел прочь от нее, к ближайшему лесу. Ноги все еще подгибались и даже побаливали; он испытывал странную, чисто физическую усталость. Присев на минутку отдохнуть, он тут же заснул.

Проснулся он совсем отдохнувший, но почему-то в беспокойстве. Это никак не было связано с тем диковинным гостем, которого он увидел возле себя. У его ног, уткнувшись в них носом, лежал дракон; один его глаз был закрыт, другим он глядел на Рэнсома. Приподнявшись на локте, Рэнсом увидел у своей головы другого стража — пушистого зверька, вроде кенгуру, только желтого, именно желтого, он в жизни не встречал такой яркой, чистой желтизны. Едва Рэнсом пошевелился, оба зверя стали тыкаться в него носами. Они тыкались истыкались, пока он не поднялся на ноги, а потом принялись подталкивать куда-то. Дракон был слишком тяжел, Рэнсом не мог его отпихнуть, а желтый кенгуру скакал вокруг него, тоже отрезая все пути, кроме одного. Он сдался. Они подгоняли его, вели сквозь рощу каких-то деревьев, повыше и потемнее, потом через полян-

ку, потом аллеей, где на деревьях росли пузыри, а там — через широкое поле серебряных высоких цветов. Наконец он понял, что звери ведут его к своей госпоже. Она стояла неподалеку, совершенно неподвижно, но не казалась праздной, словно и разум ее, и даже тело заняты какой-то невидимой работой. Впервые он внимательно разглядел ее — она его не видела, — и она показалась ему еще более странной, чем прежде; ни одно земное понятие не годилось. Противоположности соединялись в ней и переходили друг в друга. Мы себе и представить этого не можем. Попробую сказать так: ни мирскому, ни священному искусству не создать ее изображения. Прекрасная, юная, обнаженная и не знающая стыда, она была языческой богиней — но лицо дышало таким покоем, что показалось бы скучным, если бы не сосредоточенная, почти вызывающая кротость. Лицо это, напоминавшее о тишине и прохладе церкви, в которую входишь с жаркой улицы, было лицом Мадонны. Он пугался того напряженного покоя, который глядел из этих глаз; но в любую минуту она могла рассмеяться, как ребенок, убежать резвее Дианы или заплясать, как вакханка. А золотое небо висело над самой ее головой, звери подбегали приветствовать ее, стряхивая по пути

лягушек с пушистых кустов, и воздух наполнился яркими комочками, похожими на капли росы. Когда дракон и кенгуру приблизились к ней, Женщина обернулась, приветливо подозвала их, и снова то, что Рэнсом увидел, было таким, как бывает на Земле — и совсем иным. Она ласкала животных не как наездница, гордящаяся своим конем, и не как девочка, играющая с котенком. В лице ее было достоинство, в ласках — снисходительность; она помнила, что ласкавшиеся к ней твари ниже ее, и само это знание возвышало их, превращало не в балованных любимцев, но в слуг. Когда Рэнсом подошел ближе, она наклонилась и шепнула что-то в желтое ухо кенгуру, а затем, обернувшись к дракону, издала какой-то звук, похожий на его блеянье. Она как бы отпустила их, и они убежали в лес.

— У вас тут животные почти разумны, — сказал Рэнсом.

— Мы делаем их все старше и старше, — отвечала она. — Разве не для этого и существуют животные?

Рэнсом уцепился за слово «мы».

— Я как раз хотел спросить, — сказал он. — Малельдил послал меня в ваш мир с какой-то целью. Ты знаешь, с какой?

Она к чему-то прислушалась, потом сказала:

— Нет.

— Тогда отведи меня к себе домой и познакомь с вашим народом.

— Что такое «народ»?

— Твоя родня… ну, и другие.

— Ты говоришь о Короле?

— Да. Если здесь есть король, лучше мне пойти к нему.

— Я не могу тебя отвести, — сказала она. — Я не знаю, где он.

— Тогда отведи меня к себе домой.

— Что такое «дом»?

— Место, где люди живут, хранят свои вещи, растят детей.

Она раскинула руки, охватив весь мир вокруг себя, и сказала:

— Вот мой дом.

— И ты живешь здесь в одиночестве? — спросил он.

— Что такое «одиночество»?

Рэнсом попробовал иначе:

— Отведи меня туда, где я смогу поговорить с другими.

— Если ты имеешь в виду Короля, я ведь сказала: я не знаю, где он. Когда мы были совсем

молодые, много дней назад, мы прыгали с острова на остров. Когда он был на одном острове, а я на другом, поднялась волна и нас отнесло в разные стороны.

— Разве ты не можешь отвести меня к другим людям? Ведь не единственный же он человек, кроме тебя!

— Нет, единственный. Разве ты не знал?

— Должны быть и другие — твои братья, сестры, родичи, друзья…

— Я не знаю, что эти слова значат.

— Да кто же тогда Король? — в отчаянии спросил Рэнсом.

— Он — это он сам, — сказала она. — Как можно ответить на такой вопрос?

— Послушай, — сказал Рэнсом, — у тебя ведь есть мать. Она жива? Где она? Когда ты в последний раз ее видела?

— У меня есть мать? — спросила Женщина, удивленно, но совсем спокойно. — О чем ты? Это я — Мать.

И снова Рэнсом почувствовал, что говорит не она или не только она. Никакого другого звука не было, море и воздух застыли, но где-то в призрачной дали вновь началась песня огромного хора. И к нему вернулся страх, который рассеяли было

ее нелепые ответы.

— Я не понимаю, — сказал он.

— И я не понимаю, — сказала Женщина, — но душа моя славит Малельдила, ибо Он нисходит с Высоких Небес, чтобы благословить меня на все времена, которые еще придут к нам. Он силен, сила Его укрепляет меня, и ею живы эти славные твари.

— Если ты мать, где твои дети?

— Их еще нет, — сказала она.

— А кто будет их отцом?

— Король, конечно, кто же еще?

— И у короля тоже нет отца?

— Он сам — Отец.

— Значит, — медленно произнес Рэнсом, — ты и он — единственные люди во всем этом мире?

— Конечно. — Тут лицо ее изменилось. — Какая же молодая я была! — сказала она. — Теперь я вижу. Я знала, что в старых мирах, там, где хросса и сорны, много разумных существ. Но я забыла, что и ваш мир старше нашего. Я поняла, вас теперь много. Я-то думала, вас там тоже только двое. Я думала, ты — Отец и Король вашего мира. А там живут уже дети детей, и ты, наверное, один из них.

— Да, — сказал Рэнсом.

— Когда ты вернешься, передай мой привет вашей Королеве и Матери, — сказала Зеленая Женщина, и впервые в ее голосе прозвучала изысканная даже церемонная вежливость. Рэнсом понял: она знает теперь, что говорит не с равным.

Одна королева посылала свой привет другой, и тем более благосклонно разговаривала с простым подданным. Ему нелегко было ей ответить.

— Наша Королева и Мать умерла, — наконец сказал он.

— Что значит «умерла»?

— Когда наступает время, люди покидают наш мир. Малельдил забирает их души куда-то — мы надеемся, что в Глубокие Небеса. Это называется «умереть».

— Что же ты дивишься, почему ваш мир избран для Поворота? Вы всегда глядите в Глубокое Небо, мало того — вас еще и забирают. Милость, оказанная вам, превыше всех милостей.

Рэнсом покачал головой:

— Это не совсем так.

— Наверное, — сказала она. — Малельдил послал тебя, чтобы ты научил нас умирать.

— Ты не поняла, — сказал он, — это все совсем не так. Это очень страшно. Смерть даже пахнет

дурно. Сам Малельдил заплакал, когда увидел ее.

И голос его, и лицо, видимо, удивили се. Она изумилась — не ужаснулась, просто изумилась, но лишь на секунду; потом изумление растворилось в се покос, словно капля в океане. Она сказала снова:

— Не понимаю.

— И не поймешь, госпожа, — сказал он. — Так уж устроен наш мир — не все, что там есть, приятно нам. Бывает и такое, что руки и ноги себе отрежешь, лишь бы его не было — и все же это есть.

— Как можно желать, чтобы нас не коснулась волна, которую послал Малельдил?

Рэнсом знал, что спорить не стоит, и все же продолжал:

— Да ведь и ты ждала Короля, когда повстречалась со мной. Когда ты увидела, что это не он, лицо твое изменилось. Разве ты этого хотела? Разве ты не хотела увидеть кого-то другого?

— Ох! — просто охнула Женщина и отвернулась от него. Она опустила голову, стиснула руки, напряженно размышляя. Потом вновь подняла взгляд, и сказала:

— Не делай меня старше так быстро, я не вынесу, — и отступила от него на несколько шагов.

Рэнсом пытался понять, не причинил ли ей вреда. Он догадался, что чистота ее и покой не установлены раз и навсегда, как покой и неведение животного, — они живые, а значит, хрупкие. Равновесие удерживал разум, его можно нарушить. Скажем так: велосипедисту нет причин упасть посреди ровной дороги, и все же это может случиться в любую минуту. Ничто не принуждало ее сменить мирное счастье на горести нашего рода, но ничто и не ограждало ее… Опасность, которую Рэнсом разглядел, ужаснула его; но когда он вновь увидел лицо Королевы, он уже сказал бы не «опасно», а «стало интересно», а там и забыл все определения. Снова не мог он глядеть на это лицо — он увидел то, что старые мастера пытались изобразить, рисуя нимб. Лицо излучало и веселье, и строгость, сияние его походило на сияние мученичества — но без всякой боли. А когда она заговорила, слов ее он опять не понял.

— Я была такая молодая, вся моя жизнь была как сон… Я-то думала, меня ведут или несут, а я шла сама…

Рэнсом спросил ее, что это значит.

— То, что ты показал мне, — продолжала она, — это ведь ясно, как небо, но раньше я не видела. А это происходит каждый день. Я иду в лес, чтобы

найти там еду, и уже думаю об одном плоде больше, чем о другом. Но я могу найти другой плод, не тот, о котором думала. Я ждала одну радость, а получила другую. Раньше я не замечала, что в тот самый миг, когда я нахожу этот плод, я что-то… ну, выбрасываю из головы, о чем-то забываю. Я еще вижу тот плод, который не нашла. Если б я захотела… если б это было возможно,.. я могла бы все время глядеть только на этот плод. Душа отправилась бы искать то, чего она ждала, и отвернулась бы от того, что ей послано. Так можно отказаться от настоящего блага, и вкус плода, который ты держишь, покажется пресным по сравнению с тем плодом, которого нет.

Рэнсом перебил ее:

— Ну, это не то же самое, что найти незнакомца, когда надеешься встретить мужа.

— Именно так я все и поняла. Ты и Король различаетесь куда больше, чем два плода. Радость встречи с ним и радость от нового знания, которое ты мне дал, меньше похожи друг на друга, чем вкус разных плодов. Когда разница так велика и благо, которое ты ждешь, так важно, первая картинка держится в уме гораздо дольше, сердце бьется много раз, после того, как уже пришло иное благо. Вот это чудо, эту радость ты и показал

мне, Пятнистый, я сама отвернулась от того, чего я ждала, и приняла то, что мне послано, сама, по своей воле. Можно представить себе иную волю, иное сердце, которое поступит иначе — будет думать только о том, чего оно ждало, и не полюбит то, что ему послано.

— В чем же здесь чудо и радость? — спросил Рэнсом.

Мысль ее была настолько выше его мыслей, глаза сверкали таким торжеством, что на Земле оно непременно обернулось бы презрением, но в этом мире презрения нет.

— Я думала, — сказала она, — что меня несет воля Того, Кого я люблю. А теперь я знаю, что по своей воле иду вслед за Ним. Я думала, благо, которое Он посылает, вбирает меня и несет, как волна несет острова, но это я сама бросаюсь в волну и плыву, как плывем мы, когда купаемся. Мне показалось, что я попала в ваш мир, где нет крыши, и люди живут прямо под обнаженным небом. Это и радостно и страшно! Подумать только, я сама иду рядом с Ним, так же свободно, как Он Сам, Он даже не держит меня за руку. Как сумел Он создать то, что так отделено от Него? Как пришло Ему это в голову? Мир гораздо больше, чем я думала. Я думала, мы идем по готовым дорожкам,

а дорожек нет. Там, где я пройду, и будет тропа.

— А ты не боишься, — спросил Рэнсом, — что когда-нибудь тебе будет трудно отвернуться от того, что ты хотела, ради того, что пошлет Малельдил?

— И это я понимаю, — ответила она. — Бывают очень большие и быстрые волны. Нужны все силы, чтобы плыть вместе с ними. Ты думаешь, Малельдил может послать мне и такое благо?

— Да, такую волну, что всех твоих сил будет мало.

— Так бывает, когда плаваешь, — сказала Королева, — в этом-то и радость, правда?

— Разве ты счастлива без Короля? Разве он тебе не нужен?

— Не нужен? — переспросила она. — По-твоему, что-то в мире может быть не нужно?

Ответы ее начали немного раздражать Рэнсома.

— Не похоже, чтобы ты очень скучала по нему, раз ты прекрасно обходишься одна, — сказал он, и удивился своей угрюмости.

— Почему? — спросила Королева. — И еще, Пятнистый, почему у тебя такие холмики и впадины на лбу, почему ты приподнял плечи? Что это значит в твоем мире?

— Ничего, — поспешно ответил он. Казалось бы, что такого, но в этом мире и так лгать нельзя. Когда он солгал, его просто затошнило. Ложь стала бесконечно большой и важной, заслонила все. Серебряный луг и золотое небо отбросили ее назад, ему в лицо. Сам воздух исполнился гневом, жалил его — и он забормотал:

— Я просто не сумел бы тебе объяснить…

Королева смотрела на него пристальней, чем раньше. Возможно, глядя на первого потомка, которого ей довелось встретить, она предчувствовала, что ожидает ее, когда у нее будут собственные дети.

— Мы достаточно говорили, — сказала она наконец. Рэнсом думал, что тут она повернется и уйдет; но она не двигалась. Он поклонился, отступил на шаг — она ничего не говорила, словно забыла про него. Он повернулся и пошел сквозь густые заросли, пока не потерял ее из виду. Аудиенция кончилась.

ГЛАВА 6

Как только она скрылась из виду, ему захотелось взлохматить волосы, засвистать, закурить, сунуть руки в карманы — словом, проделать все то, что помогает мужчине облегчить душу после долгого, напряженного разговора. Но сигарет у него не было, да и карманов, а хуже всего было то, что он так и не остался наедине с собой. С первой минуты, как он заговорил с Королевой, он ощущал чье-то присутствие, и оно его угнетало. Не исчезло оно и теперь, скорее усилилось. Общество Королевы все же защищало его, а с ее уходом он остался не в приятном одиночестве, а наедине с чем-то. Сперва это было невыносимо, позже он говорил нам: «Для меня не осталось места». Но вскоре он обнаружил, что странная сила становится невыносимой лишь в определенные минуты — как раз когда ему хочется закурить и сунуть руки в карманы, то есть утвердить свою независимость, право быть самому по себе. Тут даже воздух становился слишком плотным, «без продыху»; место, где он стоял, заполнялось до отказа, выталкивало его — но и уйти он не мог.

Стоило принять это, сдаться — и тяжесть исчезала, он просто жил ею, и даже радовался, словно ел или пил золото, или дышал им, а оно питало его, и не только вливалось в него, но и заливало. Вот ты сделал что-то не то — и задыхаешься, вот принял все как должно — и земная жизнь по сравнению с этим кажется полной пустотой. Сперва, конечно, он часто допускал промахи. Но как раненый знает, в каком положении болит рана и избегает неловкой позы, так и Рэнсом отучался от этих ошибок, и с каждым часом чувствовал себя все лучше.

За день он довольно тщательно исследовал остров. Море все еще было спокойно и на многие острова можно было перебраться одним прыжком. Его островок был на самом краю временного архипелага, и с другого берега открывался вид на безбрежное море. Острова стояли на месте или очень медленно плыли. Сейчас они были недалеко от огромной зеленоватой колонны, которую он увидел тогда, вначале. Теперь он мог хорошо разглядеть ее, до нее было не больше мили. Это была высокая гора, вернее — целая цепь гор, а то и скал, высота их намного превосходила ширину, они походили на огромные доломиты, только плавные и такие гладкие, что вернее сравнить

их с Геркулесовыми столпами. Огромная гора росла не из моря, а из холмистой земли, сглаживающейся к берегу, между скалами виднелись заросшие долины и совсем узкие ущелья. Это, конечно, была настоящая земля, Твердая Земля, уходившая корнями в планету. С того места, где сидел Рэнсом, он не мог разглядеть, из чего состоит покров этих гор. Ясно было одно: это земля, на ней можно жить. Ему очень захотелось туда попасть. Выйти на берег там, видимо, не сложно, и кто его знает — может, и на гору он заберется.

Королеву в тот день он больше не встречал. Назавтра, рано утром, накупавшись и впервые позавтракав тут, он спустился к морю, высматривая путь на Твердую Землю. Вдруг он услышал за спиной голос Королевы, оглянулся и увидел, что она выходит из лесу, а за ней, как обычно, следуют разные твари. Она поздоровалась с ним, но похоже, не хотела вступать в разговор, просто подошла и стала рядом, глядя в сторону Твердой Земли.

— Я отправлюсь туда, — наконец сказала она.

— Можно и мне с тобой? — спросил он.

— Если хочешь, — ответила Королева, — только там ведь Твердая Земля.

— Потому я и хочу попасть туда, — сказал Рэн-

сом. — В моем мире вся земля неподвижна, и я был бы рад походить по ней.

Она вскрикнула от удивления и посмотрела на него.

— А где же вы тогда живете? — спросила она.

— На земле.

— Ты же сказал, она неподвижная?

— Да. Мы живем на Твердой Земле.

Впервые с тех пор, как он повстречал Королеву, он увидел на ее лице что-то хоть отдаленно похожее на страх или отвращение.

— Что же вы делаете ночью?

— Ночью? — в недоумении переспросил Рэнсом. — Ночью мы спим.

— Где?

— Там, где живем. На своей земле.

Она задумалась, и думала так долго, словно никогда не заговорит. Но она заговорила, и голос ее стал спокойней и тише, хотя прежняя радость еще не вернулась.

— Он вам не запретил, — сказала она; не спросила, просто сказала.

— Конечно, — ответил Рэнсом.

— Значит, разные миры устроены по-разному.

— А у вас закон запрещает спать на Твердой Земле?

— Да, — сказала Королева. — Он не хотел, чтобы мы там жили. Мы можем приплыть туда и гулять, ведь этот мир принадлежит нам. Но остаться там — заснуть и проснуться… — она содрогнулась.

— В нашем мире такой закон невозможен, — сказал Рэнсом. — У нас нет плавучих островов.

— А сколько людей в вашем мире? — внезапно спросила она.

Рэнсом сообразил, что точного числа он не знает, но постарался объяснить ей, что такое «миллионы». Он надеялся ее удивить, но числа сами по себе ее не интересовали.

— Как же вам всем хватило места на Твердой Земле? — допытывалась она.

— Там не один такой кусок, а несколько, — отвечал Рэнсом, — и они большие, почти такие же большие, как здесь — океан.

— Как же вы живете? — удивилась она. — Половина вашего мира пустая и мертвая. Столько земли, и вся прикована ко дну. Разве вам не тяжело даже думать об этом?

— Ничуть, — ответил Рэнеом. — В нашем мире перепугались бы, услышав, что у вас тут сплошной океан.

— К чему же все это ведет? — тихо сказала Королева, обращаясь скорее к себе, чем к Рэнсо-

му. — Я стала такая взрослая за эти несколько часов, вся моя прежняя жизнь — словно голый ствол, а теперь ветви растут и растут во все стороны. Они разрослись так, что вынести трудно. Сперва я узнала, что сама веду себя от одного блага к другому, это тоже трудно понять. А теперь получается, что благо в разных мирах — разное. То, что Малельдил запретил в одном мире, Он разрешил в другом.

— Может быть, в нашем мире мы неправы… — неуверенно начал Рэнсом, встревоженный тем, что натворил.

— Нет, — отвечала она. — Так говорит мне Сам Малельдил. Да иначе и быть не могло, раз у вас нет плавучих островов. Только Он не сказал мне, почему Он запретил это нам.

— Наверное, есть важная причина, — начал Рэнсом, но она рассмеялась и перебила его.

— Ах, Пятнистый, — воскликнула она, все еще улыбаясь, — как же много говорят в вашем мире!

— Виноват, — смущенно буркнул он.

— В чем же ты провинился?

— В том, что говорю слишком много.

— Слишком много? Как я могу решать, что для вас много?

— Когда в нашем мире скажут, что кто-то много

болтает, это значит, что его просят замолчать.

— Почему же прямо не попросить?

— А над чем ты смеялась? — спросил Рэнсом, не зная, как ей ответить.

— Я засмеялась. Пятнистый, потому что ты, как и я, думал о законе, который Малельдил дал одному миру, а не другому. Тебе нечего было сказать о нем, и все же тебе удалось превратить это в слова.

— Кое-что я все-таки хотел сказать, — тихо проговорил Рэнсом. — В вашем мире, — добавил он громче, — этот запрет соблюдать нетрудно.

— Опять ты говоришь странные слова, — возразила Королева. — Кто сказал, что это трудно? Если я велю зверям встать на голову, им трудно не будет. Наоборот, они обрадуются. Вот так и я у Малельдила, и всякий Его приказ для меня радость. Я не об этом думала. Я думала о том, что Его повеления бывают разные — есть, оказывается, два вида просьб.

— Умные люди говорят… — начал было Рэнсом, но она снова перебила его.

— Подождем Короля, спросим его, — сказала она. — Что-то мне кажется, Пятнистый, ты тоже ничего об этом не знаешь.

— Конечно, спросим, — ответил Рэнсом. — Если

найдем. — И тут же невольно вскрикнул по-английски: — Что это?! Женщина тоже вскрикнула. Падучая звезда промчалась по небу далеко слева и через несколько секунд раздался невнятный грохот.

— Что это? — повторил он уже на здешнем языке.

— Что-то упало с Глубоких Небес, — ответила Королева. На лице ее проступило и удивление, и любопытство, но мы так привыкли видеть эти чувства только с примесью страха и отпора, что выражение это опять показалось Рэнсому странным.

— В самом деле, — отозвался он. — Эй, а это что такое?

Посреди спокойного моря вздулась волна; водоросли, обрамлявшие остров, затрепетали. Через мгновение все успокоилось — волна прошла под их островом.

— Что-то упало в морс, — уверенно сказала Королева и вернулась к прерванному разговору, словно ничего и не произошло.

— Я хотела сегодня отправиться на Твердую Землю, чтобы поискать Короля. На этих островах его нет, я их все обыскала. Но если мы взберемся на те горы, мы сразу увидим большую часть моря.

Мы увидим, нет ли тут еще островов.

— Хорошо, — сказал Рэнсом. — Если нам удастся доплыть.

— Мы поедем верхом, — ответила Королева. Она опустилась на колени — все движения се были так точны и изящны, что Рэнсом следил за ней с восторгом — и трижды позвала, негромко, на одной ноте. Сперва ничего не произошло; но вскоре Рэнсом увидел маленькие волны, спешившие к их берегу. Еще минута, и море возле острова кишело большими серебряными рыбами. Они пускали фонтаном воду, изгибались, оттесняли друг друга, стремясь к берегу, — передние уже почти коснулись земли. Самые крупные достигали девяти футов в длину, и все они были с виду плотными и сильными. На земных рыб они похожи не были, нижняя часть головы была намного шире, чем соединенная с ней часть тела, но к хвосту туловище вновь расширялось. Если б не это, они бы точь-в-точь напоминали бы гигантских головастиков; а так они были скорее похожи на пузатых стариков со впалой грудью и очень большой головой. Почему-то Королева долго осматривала их, прежде чем выбрать. Едва она выбрала двух рыб, остальные чуть подались назад, а победительницы развернулись хвостом

к берегу и замерли, чуть шевеля плавниками. «Вот так», — сказала она, садясь верхом прямо туда, где суживалось тело рыбы. Рэнсом тоже сел верхом. Большая голова, оказавшаяся перед ним, прекрасно заменяла луку седла и он не боялся упасть. Он следил за Королевой — она слегка подтолкнула пятками свою рыбу, и он подтолкнул свою. В ту же минуту они заскользили по морю со скоростью шести миль в час. Воздух над водой был прохладный, волосы развевались от ветра. В этом мире, где ему до сих пор довелось лишь ходить пешком и плавать, было приятно, что верхом на рыбе едешь так быстро. Он оглянулся и увидел, как тают вдали очертания островов, то громоздкие, то воздушные, небо становится все шире, и золотой его свет сияет все ярче. Впереди высилась причудливая, странно окрашенная гора. Он с удивлением заметил, что вся стая отвергнутых рыб по-прежнему сопровождает их: одни плыли прямо за ними, другие рассыпались справа и слева.

— Они всегда плывут за твоей рыбой? — спросил он.

— А разве в вашем мире звери не ходят за вами? — спросила она. — Мы можем сесть верхом только на этих двух. Было бы обидно, если бы

тем, кого мы не выбрали, мы не разрешили даже плыть вместе с нами.

— Вот что! Значит, поэтому ты так долго выбирала этих рыб?

— Конечно, — сказала Королева. — Я стараюсь брать каждый раз другую.

Земля становилась все ближе; линия берега, прежде прямая, изогнулась, то открывая заливы, то выступая вперед. Еще миг — и рыбы уже не могли двигаться дальше, для них стало слишком мелко. Зеленая Королева соскочила со своего коня, и Рэнсом перекинул ногу с одного бока своей рыбы на другой, вытянул и — вот это радость! — коснулся твердых камешков. Он и не понимал до сих пор, как тоскует по твердой земле. К заливу, где они высадились, спускалась узкая долина, или ущелье, окруженное обломками скал и красными утесами. Внизу оно завершалось поляной, покрытой каким-то мхом; росли там и деревья, тоже совсем земные — где-нибудь в тропиках они показались бы необычными разве что опытному ботанику. Посреди ущелья бежал ручей; и вид его, и звук обрадовали Рэнсома, словно он оказался в раю — или дома. Ручей был прозрачный и темный, в таких ловят форель.

— Тебе нравится тут, Пятнистый? — спроста

Королева, взглянув на него.

— Да, — сказал он, — очень похоже на мой мир.

Они стали подниматься вверх по ущелью. Когда они подошли к деревьям, сходство с земным лесом уменьшилось — здесь меньше света, и листва, которая на Земле дала бы легкую тень, обращала рощу в сумрачный бор. Через четверть мили долина и впрямь превратилась в ущелье, узкую тропу между низкими скалами. Королева в два прыжка забралась туда, Рэнсом последовал за ней, дивясь ее силе и ловкости. Они попали на ровный участок земли, покрытой дерном или травой, только синей, и такой короткой, словно ее срезали. Вдалеке на траве виднелись какие-то белые пушистые комочки.

— Это цветы? — спросил Рэнсом. Королева рассмеялась.

— Нет, это Пятнашки. Я назвала тебя из-за них.

Он не сразу понял ее, но эти комочки задвигались и устремились к людям, которых, видимо, учуяли — ведь Рэнсом и Королева забрались уже на ту высоту, где дул сильный ветер. Вскоре все они кружились вокруг королевы, приветствуя ее. То были белые животные с черными пятнами, ростом с овцу, но большие уши, подвижные носы

и длинные хвосты превращали их в каких-то огромных мышей. Когтистые лапы были очень похожи на руки и предназначались конечно, для того, чтобы карабкаться по скалам — синяя трава была им пастбищем. Обменявшись с ними приветствиями, Рэнсом и Королева пошли дальше. Зеленая колонна горы почти вертикально нависала над ними, золотой океан казался безбрежным — и все же им пришлось еще долго карабкаться к подножью колонн. Там было гораздо прохладнее, чем внизу, но все еще тепло, и очень тихо. Ведь на островах тишину наполняли незаметный и неумолчный плеск воды, шорох листьев и снованье живых тварей.

Между двумя колоннами было что-то вроде прохода, заросшего синей травой. Снизу казалось, что колонны эти стоят почти вплотную друг к другу, но сейчас, когда Рэнсом и Королева пошли между ними и углубились настолько, что стены почти закрыли от них мир и с правой, и с левой стороны, оказалось, что здесь прошел бы полк солдат. Подъем становился все круче, проход сужался. Вскоре пришлось ползти на четвереньках по узкой тропе, и Рэнсом, поднимая голову, едва мог разглядеть над собою небо. Наконец путь им перегородил большой камень,

соединивший, словно кусок челюсти, два огромных зуба, стоявших справа и слева. «Ах, был бы я сейчас в брюках», — пробормотал Рэнсом, глядя на эту скалу. Королева — она ползла впереди — приподнялась, встала на цыпочки и подняла руки, пытаясь ухватиться за какой-то выступ на самом верху этого камня. Рэнсом увидел, как она подтянулась, подняла на руках всю тяжесть тела и одним движением забросила его на вершину, прежде чем он крикнул по-английски: «Так ничего не выйдет!» Когда он исправил свою ошибку, она стояла на вершине, над ним. Он и не разглядел толком, как ей все это удалось, но, судя по ее лицу, ничего особенного туг не было. Сам он взобрался на скалу не так достойно, и предстал перед ней пыхтя, обливаясь потом, с разбитой коленкой. Кровь заинтересовала ее — когда Рэнсом объяснил ей, откуда берется «это красное», она решила тоже содрать кожу с колена, чтобы посмотреть, пойдет ли кровь. Он стал объяснять ей, что такое боль, но она еще пуще захотела проделать опыт. Правда, в последнюю минуту Малельдил, видимо, отговорил ее.

Теперь Рэнсом мог оглядеться. Высоко вверх уходили зеленые столбы, снизу казалось, что у вершины они сходятся, почти закрывая небо.

Их было не два, а целых девять. Одни, как и те, между которыми они вошли в этот круг, стояли близко друг от друга, другие — подальше. Они окружали овальную площадку акров в семь, покрытую такой нежной травой, какой нет у нас, на Земле, и усыпанную алыми цветками. Ветер пел, принося наверх прохладную, прекрасную суть всех запахов цветущего мира. Огромное море в просвете между столбами напоминало своей безбрежностью, как высоко они поднялись. Рэнсом, привыкший к мешанине красок и форм на плавучих островах, отдыхал, созерцая чистые линии огромных камней. Он шагнул вперед, под свод, накрывавший эту площадь, и голос его пробудил эхо.

— Здесь хорошо, — сказал он. — Может быть, вы… ведь вам этот мир запрещен… может, вы чувствуете иначе?

Взглянув на Королеву, он понял, что ошибся. Он не мог угадать ее мыслей, но лицо ее вновь озарилось сиянием, и ему пришлось опустить глаза.

— Давай разглядим море, — сказала она.

Они обошли площадку. Позади этой земли они увидели ту группу островов, которую покинули на рассвете. С этой высоты архипелаг оказался еще больше, чем думал Рэнсом. Краски — золото,

и серебро, и пурпур, и даже, как ни странно, насыщенная чернота — были яркие, как на гербе. Ветер дул оттуда — Рэнсом различал благоуханье плавучих островов так же ясно, как жаждущий различает плеск воды. Со всех остальных сторон гору окружал океан. Обходя площадку, они достигли наконец той точки, с которой не было видно и островов. Когда они завершали круг, Рэнсом вскрикнул — и в ту же минуту Королева вытянула руку, на что-то указывая. В двух милях от них, на воде, то бронзовой, то почти зеленой, чернело что-то маленькое и круглое — у нас, на Земле, Рэнсом принял бы это за буек.

— Я не знаю, что это, — сказала Женщина. — Может быть, это и есть та штука, которая упала сегодня с Глубокого Неба.

«Бинокль бы мне», — подумал Рэнсом — слова Королевы пробудили в нем затихшее было беспокойство. Чем дольше он глядел на черную точку, тем сильнее становилось беспокойство. Предмет был совершенно круглый, гладкий, и Рэнсому казалось, что он уже видел такой где-то.

Вы уже слышали, что Рэнсом побывал в том мире, который мы называем Марсом, хотя надо называть Малакандрой. Туда, в отличие от Переландры, его доставили не эльдилы. Он был

похищен людьми, которые хотели принести в жертву человека, чтобы умилостивить тайные силы, правящие Марсом. Люди эти заблуждались: великий Уарса, правитель Малакандры (тот самый, которого я своими собственными глазами видел у Рэнсома) не причинят ему зча и зла не замышлял. А вот сам похититель, профессор Узстон, и впрямь задумал злое. Он был одержим идеей, которая сейчас рыщет по всей нашей планете в виде «научной фантастики» и всяких «межпланетных сообществ». Ее смакуют во всех дешевых журналах, высмеивают или презирают все разумные люди, но сторонники ее готовы, дайте им только власть, положить начало новой череде бед в Солнечной системе. Они считают, что человечество, достаточно испортив свою планету, должно распространиться пошире, и надо прорваться сквозь огромные расстояния — сквозь карантин, установленный Самим Богом. Но это только начало. Дальше идет сладкая отрава дурной бесконечности — безумная фантазия, что планету за планетой, галактику за галактикой, Вселенную за Вселенной можно вынудить всюду и навеки питать только нашу жизнь; кошмар, порожденный страхом физической смерти и ненавистью к духовному бессмертию;

мечта, лелеемая множеством людей, которые не ведают, что творят, — а некоторые и ведают. Они вполне готовы истребить или поработить все разумные существа, если они встретятся на других планетах. И вот профессор Уэстон нашел средство, чтобы осуществить эту мечту. Великий физик изобрел космический двигатель. Маленький черный предмет, проплывавший вдалеке по не ведавшим зла водам, был очень похож на космический корабль. «Так вот зачем меня послали, — подумал Рэнсом. — Ему ничего не удалось на Малакандре, теперь он явился сюда. И это я должен как-то с ним справиться». Со страхом подумал он о своей слабости — там, на Марсе, с Уэстоном был только один спутник, но у них были ружья. А скольких приведет он за собой сюда? Да и на Марсе не Рэнсом дал ему отпор, а эльдилы, и главный из них, правитель Малакандры. Рэнсом поспешно обернулся к Королеве.

— В вашем мире я еще не встречал эльдилов, — сказал он.

— Эльдилы? — переспросила она, будто не знала этого слова.

— Эльдилы, — повторил он, — великие, древние слуги Малельдила. Те, кто не нуждается ни в воздухе, ни в пище. Их тела — из света. Мы почти

не видим их. Мы должны их слушаться.

Она подумала и сказала:

— Как мягко и ласково Малельдил делает меня старше. Он показал мне все виды этих блаженных существ. Но теперь, в этом мире, мы не подчинены им. Это все старый порядок, Пятнистый, прежняя волна, она прошла мимо нас и уже не вернется. Очень древний мир, в котором ты побывал, и вправду отдан во власть эльдилам. И в твоем собственном мире они правили, до тех пор, пока Тот, Кого мы любим, не стал человеком. А в нашем мире, первом мире, который проснулся к жизни после Великой Перемены, они уже не правят. Нет никого между Ним и нами. Они стали меньше, а мы стали больше. Теперь Малельдил говорит мне, что в этом их радость и слава. Они приняли нас — создания из нижнего мира, которым нужны воздух и пища, маленьких слабых тварей, которых они могли бы уничтожить, едва коснувшись, — и рады заботиться о нас, и учить нас, пока мы не станем старше их — пока они сами не падут к нашим ногам. Такой радости у нас не будет. Как бы я ни учила зверей, они никогда не превзойдут меня. Та радость — превыше всех радостей, но она не лучше, чем тот дар, который получили мы. Каждая радость — превыше всех.

Плод, который ты ешь, лучше всех остальных.

— Были и такие эльдилы, которые этому не радовались, — сказал Рэнсом.

— Как это?

— Мы говорили вчера, что прежнее благо можно предпочесть новому.

— Да, ненадолго.

— Один из эльдилов думал о прежнем благе очень долго. Он все держится за него с тех самых пор, как сотворен мир.

— Старое благо перестанет быть благом, если за него держаться.

— Оно и перестало. А он все равно не хочет отказаться от него.

Она посмотрела на Рэнсома с удивлением и хотела что-то сказать, но он прервал ее.

— Сейчас нет времени рассуждать об этом, — сказал он.

— Нет времени? Куда же оно делось? — спросила она.

— Послушай, — сказал он, — эта штука там, внизу, прилетела из моего мира. В ней человек или много людей…

— Гляди-ка, — воскликнула она. — Теперь их две, большая и маленькая.

Рэнсом увидел, как от космического корабля от-

делилась черная точка и стала от него удаляться. Сперва он удивился. Потом подумал, что Уэстон — если это Уэстон — мог вычислить, что Венера покрыта водой, и прихватить с собой лодку. Но может ли быть, что тот не учел ни приливов, ни штормов, и не боится, что будет отрезан от своего корабля? Нет, Уэстон не отрежет себе путь к отступлению. Да Рэнсом и не хотел, чтобы тот не мог покинуть планету. С Уэстоном, который не может вернуться, даже если захочет, просто не справиться. И вообще, что он может сделать без эльдилов? Нет, какая несправедливость — послать его, ученого, на такое дело! Любой боксер, а лучше хороший стрелок, пригоднее для такой службы. Правда, если удастся найти Короля, о котором толкует Зеленая Женщина…

Тут в мысли его проникло какое-то бормотанье, то ли ворчанье, нарушившее царившую вокруг тишину.

— Смотри! — сказала Королева, указывая на острова. Поверхность их заколебалась, и Рэнсом понял, что доносившийся шум этот был шумом волн, пока еще маленьких, но все увеличивавшихся и уже разбивавшихся с грохотом, оставляя пену на скалистом берегу.

— Море волнуется, — сказала Королева. — Пора

спускаться и уходить с этой земли. Скоро волны станут слишком большими, а я не могу оставаться здесь ночью.

— Не ходи туда! — воскликнул Рэнсом. — Тебе нельзя встречаться с человеком из моего мира.

— Почему? — сказала Королева. — Я — Королева и Мать этого мира. Раз Короля сейчас нет, кто же еще встретит чужеземца?

— Я сам встречу его.

— Это не твой мир, — ответила она.

— Ты не понимаешь, — сказал Рэнсом. — Тот человек — друг эльдила, о котором мы говорили. Он из тех, кто держится за старое благо.

— Тогда я должна ему все объяснить, — сказала Королева. — Пойдем, мы сделаем его старше. — И она легко соскользнула с края площадки, пошла по склону горы. Рэнсому было труднее переправиться через скалу, но едва его ноги коснулись травы, он пустился бежать, и Королева вскрикнула от удивления, когда он промчался мимо нее. Сейчас ему было не до Королевы — теперь он хорошо видел, в какой именно залив войдет маленькая лодка, и бежал прямо туда, стараясь не вывихнуть ногу. В лодке был только один человек. Рэнсом бежал вниз по склону. Он попал в складку горы, продуваемую ветром долину,

море скрылось, потом — открылось, он выбежал к нему, оглянулся, и к великой своей досаде увидел, что Женщина бежит за ним и его догоняет. Он снова посмотрел на море. Волны, все еще не очень большие, разбивались о берег. По щиколотку в воде, к берегу моря брел человек в рубашке, шортах, пробковом шлеме и тащил за собой ялик. Несомненно, это был Уэстон, хотя в лице его Рэнсом заметил что-то незнакомое. Сейчас Рэнсому казалось, что самое главное — не допустить встречи Королевы и Уэстона. На его глазах Уэстон убил обитателя Малакандры. Рэнсом обернулся, раскинул руки, преграждая Королеве путь, и крикнул:

— Уходи!

Но она подбежала слишком близко и чуть не упала в его объятия, потом отпрянула, часто дыша и удивленно на него глядя. Она хотела было заговорить, но тут за спиной Рэнсом услышал голос Уэстона.

— Могу я узнать, доктор Рэнсом, что тут происходит? — спросил он по-английски.

ГЛАВА 7

Учитывая все обстоятельства, Уэстон должен был удивиться Рэнсому больше, чем Рэнсом — Уэстону. Но даже если Уэстон и удивился, он ничем этого не выказал, и Рэнсом едва ли не восхитился невероятной самоуверенностью, с какой этот человек, попав в неведомый мир, тут же утвердился в нем и стоял, подбоченившись, расставив ноги, на этой неземной траве, так фамильярно, почти грубо, словно он — у камина в своем собственном кабинете. С изумлением услышал Рэнсом, как он говорит с Королевой на древнем языке — ведь там, на Малакандре, Уэстон выучил лишь несколько слов, и по неспособности, а главное потому, что просто не пожелал учить какой-то местный язык. Вот уж поистине странная и неприятная новость! Значит, сам он лишился единственного преимущества. Теперь ничего предсказать нельзя. Если весы неожиданно склонились в пользу Уэстона, случиться может все, что угодно.

Когда он очнулся от этих мыслей, Уэстон и Королева беседовали очень живо, но друг друга не понимали.

— Все это ни к чему, — говорила она. — Мы с тобой еще слишком молоды, чтобы вести разговор. Вода прибывает, пора возвращаться на острова. Он поедет с нами, Пятнистый?

— Где наши рыбы? — спросил Рэнсом.

— Они ждут в том заливе, — ответила Королева.

— Тогда поспешим, — сказал Рэнсом. Она взглянула на него, и он пояснил: — Нет, он не поедет.

Скорее всего, она не поняла, почему Рэнсом так спешит, но у нее были свои причины: она видела, как надвигается прилив. Повернувшись, она стала взбираться на холм, и Рэнсом хотел последовать за ней, но Уэстон у него за спиной крикнул:

— Стоять!

Рэнсом обернулся и увидел направленный на него револьвер. Только жар, ожегший тело, напомнил ему о страхе. Голова оставалась ясной.

— Так вы и здесь начнете с убийства? — сказал он.

— О чем ты? — откликнулась Королева, оглядываясь на них с безмятежным удивлением.

— Стойте на месте, Рэнсом, — потребовал профессор. — Туземка пусть убирается. Чем скорее, тем лучше.

Рэнсом готов был умолять, чтобы она скорее ушла, но увидел, что ее и не нужно просить. Вопреки логике он думал, что она почувствует опасность, но она видела лишь двух чужаков, занятых непонятным разговором, а ей надо было немедленно покинуть Твердую Землю.

— Так вы оба остаетесь? — спросила она.

— Остаемся, — сказал Рэнсом, не оборачиваясь. — Может быть, мы больше и не встретимся. Передай привет Королю, когда его найдешь, и вспомни обо мне, когда будешь говорить с Малельдилом.

— Мы встретимся, когда захочет Малельдил, — сказала она. — А если не встретимся, к нам придет какое-нибудь большее благо.

Еще несколько мгновений он слышал за спиной ее шаги, потом они затихли, и он остался наедине с Уэстоном.

— Вы позволили себе, доктор Рэнсом, назвать убийством некий случай, произошедший на Марсе, — заговорил профессор. — Как бы то ни было, убитый — не гуманоид. А вам я, с вашего разрешения, замечу, что совращение туземки — тоже не слишком удачный способ внедрить в новом мире цивилизацию.

— Совращение? — переспросил Рэнсом. — Ах,

да! Вы решили, что я ее обнимаю.

— Если цивилизованный человек, совершенно голый, обнимает в уединенном месте голую дикарку, я называю это так.

— Я не обнимал ее, — угрюмо сказал Рэнсом; просто сил не было защищаться от такого обвинения. — И здесь вообще нет одежды. Впрочем, какая разница? Выкладывайте лучше, зачем вы пожаловали на Переландру?

— Вы хотите меня убедить, что вы живете рядом с этой женщиной в состоянии бесполой невинности?

— А, бесполой! — усмехнулся Рэнсом. — Ну что ж… Можно и так описать здешнюю жизнь. Почему не сказать, что человеку не хочется пить, если он не пытается загнать Ниагару в чайную ложку? А вообще-то вы правы — я не испытываю похоти, как… как… — тут он умолк, не находя подходящего сравнения, потом заговорил снова: — Я не прошу вас верить в это или во что-нибудь еще. Я просто прошу поскорее начать и кончить все зверства и мерзости, ради которых вы прибыли.

Уэстон как-то странно поглядел на него и неожиданно убрал револьвер.

— Рэнсом, — произнес он, — напрасно вы меня обижаете. Снова они помолчали. Длинные греб-

ни волн, украшенные бахромой пены, сбегали в бухту точь-в-точь как на Земле.

— Да, — заговорил наконец Уэстон, — начну-ка я с признания. Используйте его, как хотите, я от своих слов не отступлюсь. Итак, я обдуманно заявляю, что там, на Марсе, я заблуждался — серьезно заблуждался — в своих представлениях о внеземной жизни.

То ли Рэнсому просто стало легче, когда исчезло дуло револьвера, то ли знаменитый физик слишком подчеркивал свое великодушие, но сейчас он едва не рассмеялся. Однако он подумал, что Уэстон, наверное, еще никогда не признавал себя неправым, а смирение, даже фальшивое, на девяносто девять процентов состоящее из гордыни, отвергать нельзя. Во всяком случае, ему, Рэнсому, нельзя.

— Ну что ж, это очень благородно, — отозвался он. — Что же вы имеете в виду?

— Сейчас объясню, — сказал Уэстон. — Сперва надо выгрузить вещи на берег.

Они вместе вытащили ялик и выложили примус, и консервы, и палатку, и прочий багаж примерно в двух сотнях ярдов от берега. Рэнсом считал все это ненужным, но промолчал, и через полчаса на мшистой полянке, среди среб-

ролистых деревьев с синими стволами вырос настоящий лагерь. Мужчины сели, и Рэнсом стал слушать — сперва с интересом, потом с удивлением, а там и вовсе перестал что-либо понимать. Откашлявшись и выпятив грудь, Уэстон вещал, как с кафедры, а Рэнсом все время чувствовал, как дико это и нелепо. Два человека попали в чужой мир, в нелегкие обстоятельства: один из них лишился космического корабля, другой только что смотрел в лицо смерти. Нормально ли, допустимо ли вести философский спор, как будто они встретились в Кембридже? Уэстон явно хотел именно этого. Его вроде бы не тревожила судьба его корабля, не удивляло и то, что здесь оказался Рэнсом. Неужели он преодолел тридцать миллионов миль ради… ну, беседы? Он не умолкал, и Рэнсому все больше казалось, что он — сумасшедший. Как актер, способный думать только о своей славе, как влюбленный, думающий лишь о возлюбленной, этот ученый мог говорить только о своей идее — скучно, пространно и неудержимо.

— Беда моей жизни, — говорил он, — да и всего современного мира мысли в том, что наука узка, строго специализирована, ибо знания все сложнее и сложнее. Я слишком рано увлекся физикой, и не обратил должного внимания на биологию,

пока мне не перевалило за пятьдесят. Ради справедливости укажу, что ложный гуманистический идеал чистого знания меня не приискал. Я всегда искал от знаний пользы. Сперва я искал пользы для себя — я добивался стипендии, штатного оклада, вообще — положения, без которого человек ничего не стоит. Когда я этого добился, я стал смотреть шире и думать о пользе всего человеческого рода.

Завершив период, он смолк, и Рэнсом кивнул.

— Польза человечества, — продолжал он, — в конечном счете зависит от возможности межпланетного и даже межзвездного сообщения. Я разрешил эту проблему. Ключ к судьбе человечества был у меня в руках. Бессмысленно — да и тягостно для нас обоих — вспоминать, как этот ключ похитил у меня на Марсе представитель враждебной нам расы разумных существ (признаюсь, я не предвидел, что такие существа возможны).

— Они не враждебны, — прервал его Рэнсом. — Впрочем, продолжайте.

— Трудности обратного путешествия серьезно подорвали мое здоровье…

— И мое, — вставил Рэнсом.

Уэстон запнулся, но тут же заговорил дальше:

— Во время болезни я мог размышлять, чего не позволял себе много лет. Особенно привлекли мое внимание те доводы, которые вы привели, утверждая, что обитателей Марса истреблять не надо, хотя, на мой взгляд, без этого невозможно заселить планету представителями нашей расы. Традиционная, так сказать — гуманная форма, в которую эти доводы вы облекли, заслоняла от меня их истинный смысл. Теперь я оценил вашу правоту — я понял, что моя исключительная приверженность благу человечества основана на неосознанном дуализме.

— Что вы имеете в виду?

— Вот что. Всю свою жизнь я совершенно ненаучно разделял и противопоставлял Природу и Человека. Я полагал, что сражаюсь за человека, против неодушевленной стихии. Пока я болел, я занялся биологией, особенно тем, что назвал бы философией природы. До тех пор, будучи физиком, я исключал жизнь из сферы своих научных интересов. Меня не интересовали споры между теми учеными, которые резко разделяют органику и неорганику, и теми, кто считает жизнь изначально присущей любой материи. Теперь меня это заинтересовало — я понял, что в эволюции космоса нет непоследовательности,

нет скачка. Я стал убежденным сторонником эволюционной теории. Все едино. Все — вещество духа, неосознанная сила, стремящаяся к цели, существующей изначально.

Он остановился. Рэнсом много раз слышал такие разговоры и гадал, когда же его собеседник доберется до сути. Уэстон с еще большей торжественностью возобновил свой монолог.

— Величественное зрелище бессловесной, слепо нацеленной силы, пробивающейся все выше и выше через возрастающую сложность структур к вящей духовности и свободе, избавило меня от всех предрассудков. Я больше не думал о долге перед человеком как таковым. Человек сам по себе — ничто. Поступательное движение жизни — возрастание в духовности — это все. Охотно признаю, Рэнсом, что я поступил бы неправильно, ликвидировав марсиан. Только предрассудок побуждал меня предпочесть человеческий род их роду. Отныне я призван распространять духовность, а не людей. Это поворотная веха в моей жизни. Сперва я работал на себя, потом — для науки, потом — ради человечества, теперь же я служу самому Духу. Если хотите — Святому Духу, на вашем языке.

— О чем вы говорите? — спросил Рэнсом.

— О том, — отвечал Уэстон, — что нас уже ничто не разделяет, кроме устаревших теологических мелочей, в которых, к сожалению, запуталась официальная церковь. Мне удалось пробить эту кору. Под ней — все тот же, живой и истинный смысл. Если позволите, скажу так: правота религиозного взгляда на жизнь замечательно подтверждается тем, что тогда, на Марсе, вы сумели на свой поэтический и мистический лад выразить истину, скрытую от меня.

— Я не разбираюсь в религиозных взглядах, — хмуро сказал Рэнсом. — Понимаете, я — христианин. Для нас Святой Дух — совсем не слепая, бессловесная сила.

— Дражайший Рэнсом, — возразил Уэстон, — я вполне понимаю вас. Не сомневаюсь, что мой способ выражения удивляет, если не шокирует вас. Прежние ваши представления — весьма почтенные — мешают вам узнать в новой оболочке те самые истины, которые долго хранила Церковь, и заново открыла наука. Но видите вы их или не видите, мы, поверьте, говорим об одном и том же.

— Нет, не поверю.

— Простите, но именно в этом главный изъян организованной религии. Вы держитесь за фор-

мулы и не узнаете собственных друзей. Бог — это Дух, Рэнсом. Начнем отсюда. Это вы знаете; этого и держитесь. Бог — это Дух.

— Ну, конечно. А дальше что?

— Как это что? Дух… разум… свобода… я об этом и говорю. Вот к чему направлена эволюция Вселенной. Я посвящаю мою жизнь и жизнь человечества тому, чтобы полностью высвободить эту свободу, эту духовность. Это — Цель, Рэнсом, Цель! Подумайте только, чистый дух, всепоглощающий вихрь саморазвивающегося, самодовлеющего действия. Вот она, конечная цель.

— Конечная? — переспросил Рэнсом. — Значит, этого пока еще нет?

— А, — сказал Уэстон, — вот что вас смущает! Ну конечно, религия учит, что Дух был с самого начала. Но велика ли разница? Время не так уж много значит. Когда мы достигнем цели, можно сказать, что так было не только в конце, но и в начале. Все равно Дух выйдет за пределы времени.

— Кстати, — сказал Рэнсом, — этот ваш дух похож на личность? Он у вас живой?

Неописуемая гримаса исказила лицо Уэстона. Он подсел поближе и заговорил потише:

— Вот этого они и не понимают, — шептал он, словно заговорщик или школьник, задумавший

какую-то пакость. Это было совсем непохоже на его солидную, ученую речь, и Рэнсому стало противно.

— Да, — продолжал Уэстон, — я и сам раньше не верил. Конечно, это не личность. Антропоморфизм — один из ребяческих предрассудков религии. — Тут важность вернулась к нему. — Но излишняя абстракция — тоже крайность. В конечном счете она еще опаснее. Назовем это Силой. Великая, непостижимая сила изливается на нас из темных начал бытия. Она сама избирает себе орудие. Только недавно, на собственном опыте я узнал кое-что из того, во что вы верите. — Тут он снова перешел на хриплый шепот, совсем не похожий на его обычный голос: — Вас направляют. Вами управляют. Вы избраны. Я понял, что я—не такой, как все. Почему я занялся физикой? Почему открыл лучи Уэстона? Почему попал на Малакандру? Это Сила направляла меня. Она меня вела. Теперь я знаю, я величайший ученый, таких еще не было на свете. Я создан таким ради определенной цели. Через меня действует Дух.

— Послушайте, — сказал Рэнсом, — в таких делах нужна осторожность. Духи, знаете ли, бывают разные.

— Да? — удивился Уэстон. — Что вы хотите

этим сказать?

— Я хочу сказать, что не все духи хороши.

— Но ведь Дух и есть благо. Дух — это цель. Вы же, вроде, стоите за духовность! В чем смысл этих ваших подвигов, поста, безбрачия и так далее? Разве мы не приняли, что Бог — это Дух? Разве вы не поэтому поклоняетесь Ему?

— Господи, конечно нет! Мы поклоняемся Ему потому, что Он — благ и мудр. Совсем не всегда хорошо быть духом. Сатана тоже дух.

— Вот это замечание весьма интересно, — подхватил Уэстон, который уже полностью обрел свой прежний стиль. — Это очень любопытная черта простонародной веры — вечно вы разделяете, противопоставляете, создаете пары противоположностей. Небо и ад, Бог и дьявол… Едва ли нужно вам говорить, что я не признаю подобного дуализма, и всего несколько недель назад отрицал оба члена этих пар как чистой воды вымысел. Но я заблуждался, причину столь универсального принципа надо искать глубже. Эти пары — истинный портрет Духа, автопортрет космической энергии, который сама она, Движущая сила, запечатлела в нашем уме.

— О чем это вы? — переспросил Рэнсом. Он встал и теперь ходил взад-вперед, ему было пло-

хо, словно он очень устал.

— Ваш Дьявол и ваш Бог — образы одной и той же Силы, — пояснил Уэстон. — Небо — портрет спереди, ад — портрет сзади. Небо — светло и мирно, ад — темен и неспокоен. Следующая стадия эволюции, манящая нас вперед, — это Бог, а предыдущая стадия, нас извергающая, — это Дьявол. Да ведь и ваша религия утверждает, что бесы — это падшие ангелы.

— У вас получается наоборот, — сказал Рэнсом. — Ваши ангелы — это преуспевающие бесы.

— Одно и то же, — отрезал Уэстон. Они помолчали.

— Послушайте, — сказал Рэнсом. — Мы плохо понимаем друг друга. Мне кажется, что вы страшно, просто ужасно заблуждаетесь. Но может быть, вы приспосабливаетесь к моим «религиозным убеждениям» и говорите больше, чем думаете. Ведь этот разговор о духах и силах — просто метафора, правда? Вы просто хотели сказать, что считаете своим долгом работать ради цивилизации, просвещения и так далее? — Он пытался скрыть возрастающую тревогу, но вдруг отпрянул, услышав крякающий смех, не то младенческий, не то старческий.

— Ну вот, ну вот! — восклицал Уэстон. — Так с

вами всегда, с верующими! Всю жизнь вы толкуете об этих вещах, а увидите — и пугаетесь.

— Чем вы докажете, — спросил Рэнсом, действительно испугавшись, — чем вы докажете, что вас избрали и вели не только ваш разум да чужие книги?

— Вы не заметили, Рэнсом, — отвечал Уэстон, — что я немного лучше знаю внеземной язык? Вы же филолог!

Рэнсом вздрогнул.

— Как же это? — растерянно сказал он.

— Руководят, руководят… — прокрякают Уэстон. Он сидел, поджав ноги, у самого дерева, и с его известково-бледного лица не сходила слегка кривая улыбка. — Руководят… — продолжал он. — Просто слышу. Само приходит в голову. Приготовляют, знаете ли, чтобы я мог все вместить.

— Это нетрудно, — нетерпеливо прервал Рэнсом. — Если ваша Жизненная Сила так двойственна, что ее изобразят и Бог, и дьявол, для нее сгодилось бы любое вместилище. Что бы вы ни сделали, все ее выразит.

— Есть главное течение, — сказал Уэстон. — Надо отдаться ему, стать проводником живой, мятежной, яростной силы… перстом, которым

она указывает вперед.

— У вас же дьявол был живой и мятежный.

— Это и есть основной парадокс. То, к чему вы стремитесь, вы называете Богом. А само движение, саму динамику такие, как вы, называют дьяволом. И вот, такие, как я, — те, кто вырвался вперед, — всегда становятся мучениками. Вы отвергаете нас — и через нас достигаете своей цели.

— Проще говоря, эта Сила требует от вас поступков, которые нормальные люди назовут дьявольскими. Так?

— Милейший Рэнсом, вы, я надеюсь, не опуститесь до такого уровня. Ведь и дьявол, и Бог — только две стороны единой, единственной реальности. Великие люди движут этот мир вперед, а величие всегда выходит за рамки обычной морали. Когда скачок свершится, нашу бесовщину назовут, на новой ступени, основой этики, но пока мы совершаем прорыв, мы — преступники, богоотступники, еретики…

— Как же далеко вы идете? Если Сила прикажет вам убить меня, вы послушаетесь?

— Да.

— Продать Англию немцам?

— Да.

— Выдать фальшивку за серьезное научное исследование?

— Да.

— Господи помилуй! — воскликнул Рэнсом.

— Вы все еще цепляетесь за условности, — сказал Уэстон. — Все еще копаетесь в абстракциях. Неужели вы не можете просто сдаться — всецело отдаться тому, что выходит за рамки вашей мизерной этики?

Рэнсом ухватился за соломинку.

— Постойте, Уэстон! — резко начал он. — Вы говорите, отдаться. Здесь мы, может быть, придем к соглашению. Значит, вы отрешаетесь от себя. Вы не ищете выгод. Погодите, погодите! Тут моя этика и ваша сходятся. Мы оба признаем…

— Идиот! — взвыл Уэстон. — Нет, какой идиот! — и он вскочил. — Вы что, ничего не понимаете? Все вам надо вогнать в эту старую дурацкую схему? «Я», «отвергнись себя»… Да это все тот же дуализм! Точная мысль не найдет различия между мной и Вселенной. Поскольку я — проводник Движущей Силы, мы с ней — одно. Понял, идиот? Понял, педант трусливый?! Я и есть Вселенная, я, Уэстон, — твой Бог и твой дьявол. Я всецело отдаюсь этой силе. Я призываю ее…

И тут начался кошмар. Судорога, подобная

предсмертным корчам, исказила лицо Уэстона. Потом она прошла, на мгновение показалось лицо — прежнее, но с остекленевшими от ужаса глазами. Уэстон отчаянно закричал: «Рэнсом! Рэнсом! Христа ради, не давайте им!..» — и тут же закружился, словно в него ударила пуля, рухнул наземь и катался у ног Рэнсома, скрипя зубами, брызжа слюной, цепляясь за мох. Постепенно корчи утихли. Он лежал спокойно, глубоко дыша, в широко открытых глазах не было сознания. Рэнсом опустился на колени. Уэстон не умер, и Рэнсом тщетно гадал, что же это было — удар или приступ эпилепсии (ни того, ни другого он никогда не видел). Порывшись в багаже, он нашел бутылку бренди, вынул пробку и сунул горлышко в рот своему пациенту. К его ужасу, зубы разомкнулись и сжались, насквозь прокусив бутылку, но стекла Уэстон так и не выплюнул… «Господи, я его убил!» — пробормотал Рэнсом. Но лицо больного не изменилось, только у края губ показалась кровь. Судя по этому лицу, он не испытывал боли, или боль эта превосходила нашу способность к восприятию. Наконец Рэнсом поднялся, снял револьвер у него с пояса и, спустившись к берегу, забросил его в море.

С минуту он постоял там, вглядываясь в залив

и гадая, что же теперь делать. Потом повернулся, поднялся на поросший травою холм, замыкавший долину слева, и оказался на ровной площадке, откуда открывался вид на морс. Волны вздымались высоко, и золото их сменялось бесконечной игрой теней и света. Сперва он не мог различить плавучие острова. Но вот то там то сям появились по всему океану верхушки деревьев, словно подвешенные к небу. Волнение уносило их все дальше, и едва он это понял, они скрылись в глубокой ложбине между волнами. Сможет ли он снова попасть на эти острова? Одиночество потрясло его и тут же сменилось разочарованием и гневом. Если Уэстон умрет, или даже если он выживет, он останется с ним один на один на земле, отрезанной от прочего мира, — то от какой же опасности он, Рэнсом, должен уберечь Переландру? Вспомнив о себе, Рэнсом почувствовал голод. На Твердой Земле он не видел ни фруктов, ни тыкв. Может быть, это западня. Он горько усмехнулся — с каким глупым ликованием променял он нынче утром плавучий рай и его дивные рощи на эту жесткую скалу! А может быть, эта земля не бесплодна? Несмотря на усталость, Рэнсом решил поискать пищу, но едва он повернул прочь от берега, быстрая смена

красок возвестила о приближении ночи. Он заспешил назад, но когда спустился в долину, роща, где он оставил Уэстона, казалась просто темным облаком. Прежде, чем он вошел в нее, наступила непроглядная ночь. Он попытался найти ощупью путь к палатке, и тут же сбился. Пришлось остановиться и сесть. Раз-другой он окликнул Уэстона, но тот не ответил. «Все-таки хорошо, что я забрал у него револьвер, — подумал Рэнсом. — Что ж, qui dort, dine2, подождем до утра». Он лег, и покрытая мхом земля показалась ему куда менее удобной, чем уже привычная почва островов. И это, и мысли о человеке, лежавшем неподалеку с осколком стекла в стиснутых зубах, и сумрачный рокот волн, разбивавшихся о скалы, все не давало ему уснуть. «Если бы я жил на Переландре, — пробормотал он, — Малельдилу не пришлось бы запрещать мне этот остров. Глаза бы мои на него не глядели».

ГЛАВА 8

Спал он беспокойно, видел страшные сны и проснулся поздно. Во рту пересохло, шея болела, он был совсем разбит. Это настолько отличалось от уже привычных пробуждении, что на мгновение ему показалось, будто он очутился на Земле, а вся его жизнь на плавучих островах в океане Утренней Звезды — просто сон. Воспоминание об утрате было почти невыносимо. Он присел и вновь ощутил, что все это — наяву. «И все-таки это очень похоже на сон», — подумал он. Голод и жажда напоминали о себе, но он счел своим долгом сперва позаботиться о больном, хотя и не надеялся ему помочь. Он огляделся. Роща серебряных деревьев была на месте, но Уэстона нигде не было видно. Он взглянул на море; ялик тоже исчез. Он подумал, что в темноте забрел не в ту долину, и отправился к ближайшему ручью утолить жажду. Подняв голову от воды и радостно вздохнув, он увидел деревянный ящик, а рядом — две консервные банки. Думал он сейчас медленно, и не сразу понял, что находится в той самой долине, а уж тем более — почему

ящик пустой. Но возможно ли, в самом деле, что в том состоянии, в котором он его оставил, Уэстон оправился настолько, чтобы среди ночи уйти, да еще с поклажей? И неужели он решился выйти в морс на хрупком ялике? Правда, за ночь шторм (для Переландры — просто зыбь) улегся, но волны все еще были немалые, так что физик никак не мог покинуть остров. Должно быть, он пешком ушел из долины, а ялик нес на себе. Рэнсом решил найти Уэстона — врага нельзя терять из виду. Если Уэстон пришел в себя, он, конечно, замыслил что-нибудь плохое. Рэнсом не был уверен, что понял толком его дикие речи; но то, что он понял, ему очень не понравилось и он подозревал, что туманные разглагольствования о духовности обернутся чем-то похуже немудрящего межпланетного империализма. Правда, нельзя принимать всерьез все, что человек наговорит перед припадком, но и без этого немало оснований для страха.

Несколько часов кряду Рэнсом искал еду и Уэстона. Что до еды, он ее нашел. Повыше, на склонах, было очень много ягод вроде черники, в лощинах — продолговатые орешки. Ядра у них были плотные, как почки или, скорее, как пробка, а вкус и запах — сладкий, приятный, хотя

и попроще, чем у тех плодов. Огромные мыши оказались смирными, как все существа на Переландре, но туповатыми. Рэнсом поднялся на срединное плоскогорье. Морс со всех сторон было испещрено островами, они вздымались и падали, и между ними синели широкие просветы воды. Рэнсом сразу подметил желтовато-розовый остров, но не понял, тот это, прежний, или другой, ибо вскоре различил еще два примерно таких же. Всего он насчитал двадцать три плавучих острова, и прикинул, что раньше их было меньше, а значит — на одном из них может быть Король или, дай то Бог, Король с Королевой. Почему-то все свои надежды он возложил на Короля.

Уэстона он не нашел. Получалось так, что тот, против всякой вероятности, покинул Твердую Землю. Рэнсом тревожился все больше — он не знал, что может натворить его враг в этом, новом настроении. Хорошо еще, если он просто презрит Короля с Королевой как жалких туземцев.

Далеко за полдень Рэнсом присел отдохнуть на самом берегу. Море почти утихло, и волны, прежде чем разбиться, едва достигли бы колен. Ноги, уже избалованные мягкой, упругой почвой плавучих островов, ныли и горели, и он решил походить по воде. Это оказалось так приятно,

что он зашел подальше, где вода была по грудь, остановился, призадумался, как вдруг увидел, что блики света — совсем и не блики, а переливы чешуи на спине огромной рыбы. «Интересно, — подумал он, — даст она сесть на себя?» — и тут же заметил, что она просто плывет к нему, явно стараясь привлечь его внимание. Неужели ее кто-то послал за ним? Мысль эта едва коснулась сознания, он тут же решил поставить опыт, положил руку ей на спину — она не отпрянула. Тогда он неуклюже взобрался на нее, и пока он садился туда, где тело сужалось, рыба не двинулась, а как только он уселся прочно, рванулась и поплыла.

Если бы он и хотел вернуться, очень скоро оказалось, что это невозможно. Оглянувшись, он увидел, что зеленые пики уже ни касаются неба, изрезанный берег выпрямляется. Шум прибоя сменился свистом разрезаемой воды. Плавучих островов было много, но отсюда, вровень с ними, он различал лишь зыбкие очертания. Однако рыба явно плыла к одному из них. Словно зная дорогу, она больше часу работала могучими плавниками. Потом зеленые и синие брызги скрыли все — и сменились тьмой.

Почему-то он не встревожился, ощутив, что вздымается по холмикам воды и падает с них во

тьме. Черной эта тьма не была. Небо исчезло, и море исчезло, но где-то внизу светились зеленью и бирюзой какие-то раковины и звезды. Сперва они были очень далеко, потом — поближе. Сонмище светящихся существ играло чуть глубже поверхности — спирали угрей, дротики раковин, странные твари, среди которых морской конек показался бы волне обычным. Они кишели вокруг, по два, по три десятка сразу. Удивительней морских драконов и морских кентавров были рыбы, настолько похожие на людей, что Рэнсом, увидев их, подумал было, не заснул ли он. Но это был не сон — наяву, снова и снова появлялись то плечо, то профиль, а то и лицо. Просто русалки или наяды… Сходство с людьми оказалось больше, а не меньше, чем он думал; только выражение лица было совсем не человеческое. Не глупое, и не карикатурно-похожее на нас, как у обезьян, — скорее, как у спящих. Или так: оно было такое, словно все человеческое спит, а какая-то иная жизнь, не бесовская, и не ангельская, сменила ее. Чуждая, странная, неуместная жизнь каких-нибудь эльфов… И он снова подумал, что мифы одного мира могут быть правдой в другом. Потом он задумался над тем, не от этих ли рыб произошли Король и Королева, первые

люди на планете. Если от рыб, как же было у нас? Вправду ли мы — потомки невеселых чудищ, чьи портреты мы видим в популярных книгах об эволюции? А может, былые мифы истинней новых? Может, сатиры и впрямь плясали в лесах Италии? Тут он отогнал эти мысли, чтобы бездумно наслаждаться благоуханием, повеявшим из тьмы. Оно становилось все чище, нежнее, сильнее, все услады слились в нем, и Рэнсом его знал. Он не спутал бы ни с чем во всей Вселенной запах плавучих островов. Странно тосковать, как по дому, по местам, где ты так мало пробыл, да еще по таким странным и чуждым человеку. А может, не чуждым? Ему показалось, что он давно тосковал по Переландре, еще до тех лет, с которых началась память, до рожденья, до сотворенья людей, до начала времен. Тоска была страстной и чистой сразу; в мире, где нервы не подчиняются духовной воле, она бы сменилась вожделением — но не здесь, не на Переландре. Рыба остановилась. Рэнсом протянул руку, коснулся водорослей, перелез через диковинную голову и вступил на покачивающуюся поверхность. За короткий промежуток он отвык ходить по ней, стал падать, но тут это было даже приятно. Вокруг, в темноте, росли деревья, и когда ему попадалось что-то

мягкое, свежее, круглое, он смело ел. Плоды были другие, еще лучше. Королева имела право сказать, что здесь, в ее мире, самый лучший плод тот, который ты ешь. Рэнсом очень устал, но еще больше его сморило то, что он был совершенно доволен. И он уснул.

По-видимому, к тому времени, как он проснулся, прошло несколько часов, но еще не рассвело. Он понял, что его разбудили, и почти сразу услышал, что же разбудило его. Рядом звучали голоса, мужской и женский. Люди разговаривали где-то близко, но в здешней тьме и за шесть дюймов ничего не разглядишь. Кто это, он догадался сразу, но голоса были какие-то странные, и тона он не понимал, поскольку не видел мимики.

— Я все думаю, — произнес женский голос, — все ли у вас повторяют одно и то же. Я же сказала, что нам нельзя оставаться на Твердой Земле. Почему ты не замолчал и не заговорил о чем другом?

— Потому что все это очень странно, — отвечал мужской голос. — В моем мире Малельдил действует иначе. К тому же, он не запретил тебе думать о том, чтобы жить на Твердой Земле.

— Зачем же думать о том, чего нет и не будет?

— У нас мы вечно этим заняты. Мы складываем

слова, чтобы описать то, чего нет, — прекрасные слова, и складываем мы их неплохо, а потом рассказываем друг другу. Называется это поэзией или литературой. В том старом мире, на Малакандре, тоже так делают. Это и занятно, и приятно, и мудро.

— Что же тут мудрого?

— Понимаешь, на свете есть не только то, что есть, но и то, что может быть. Малельдил знает и то, и другое, и хочет, чтобы мы знали.

— Я никогда об этом не думала. Когда я говорила с Пятнистым, мне казалось, что у меня, будто у дерева, все шире и шире разрастаются ветки. Но это уж совсем непонятно! Уходить в то, чего нет, и говорить об этом, и что-то делать… Спрошу-ка я Короля, что он об этом думает.

— Вечно мы к этому возвращаемся! Если бы ты не рассталась с Королем…

— А, вот! И это «могло бы быть». Мир мог быть таким, чтобы мы с Королем не расставались.

— Нет, не мир, вы сами. Там, где люди живут на Твердой Земле, они всегда вместе.

— Ты забыл, нам нельзя жить на Твердой Земле.

— Но думать об этом можно. Не потому ли Он запретил там жить, чтобы у вас было что выду-

мывать?

— Я еще не знаю. Пусть Король сделает меня старше.

— Как бы хотел я увидеть твоего Короля! Правда, в таких делах он вряд ли старше тебя.

— Эти твои слова — словно бесплодное дерево. Король всегда и во всем старше меня.

— Мы с Пятнистым сделали тебя старше кое в чем. Такого блага ты не ждала. Ты думала, что все узнаешь от Короля, а Малельдил послал тебе других людей, о которых ты и не помышляла, и они сказали тебе то, чего не знает Король.

— Теперь я вижу, зачем мы с ним разлучились. Малельдил дал мне странное и доброе благо.

— А если бы ты не стала меня слушать и твердила, что спросишь Короля? Разве тогда ты не отказалась бы от того, что есть, ради того, чего тебе хочется?

— Это трудный вопрос. Малельдил не помог мне на него ответить.

— А ты не видишь, почему?

— Нет, не вижу.

— Мы с Пятнистым объяснили тебе многое, чего Он не объяснил. Разве ты не видишь? Он хочет, чтобы ты немножко отошла от Него.

— Куда же? Ведь Он повсюду.

— Да, но не в этом смысле. Он хочет, чтобы ты стала взрослой женщиной. Ведь пока что ты незаконченa. Это животные ничего не решают сами. Теперь, когда ты увидишь Короля, не он тебе, ты ему многое расскажешь. Ты будешь старше его и сделаешь его старше.

— Малельдил не позволит, чтобы так было. Это — как плод, у которого нет вкуса.

— Нет, вкус тут будет, для Короля. Тебе не приходило в голову, что иногда он устает быть старшим? Может, он больше полюбит тебя, если мудрее будешь ты?

— Это поэзия или правда?

— Это правда.

— Разве можно любить больше? Никакая вещь не бывает больше себя самой.

— Я хотел сказать, что ты станешь больше похожа на женщин нашего мира.

— А какие они?

— Очень смелые. Они всегда обретают новое и неожиданное благо и видят его задолго до мужчин. Их разум обгоняет то, что им скажет Малельдил. Им не надо ждать, чтобы Он объяснил, что же хорошо, — они это знают сами. Собственно говоря, они — малельдилы, только поменьше. От того, что они так мудры, они очень красивые,

настолько же красивей тебя, насколько ваши тыквы вкуснее наших. А оттого, что они красивы, мужья любят их настолько же сильнее, чем любит тебя Король, насколько пламень Глубоких Небес, который мы видим из нашего мира, красивей вашего Золотого потолка.

— Хотела бы я увидеть ваше небо!

— И я бы хотел, чтобы ты его увидела.

— Как прекрасен Малельдил и чудесны его дела! Может быть, Он произведет от меня дочерей, которые будут больше меня, как я больше животных. Это лучше, чем я думала. Я думала, я всегда буду Владычицей и Королевой. Теперь я вижу, что я, наверное, — как эльдилы. Наверное, мне дано лелеять и беречь детей, пока они слабы и малы, и пасть к их ногам, когда они станут лучше и сильнее меня. Значит, не только мысли растут все шире, как ветви. И радость растет.

— Лягу-ка я посплю, — сказал другой голос, и тут уж это был несомненно голос Уэстона, да еще и довольно сварливый. До сих пор Рэнсом точно знал, что говорит Уэстон, но голос во тьме был до странности непохож на тот, знакомый, а терпеливый, мягкий тон совсем уж не походил ни на привычную важность, ни на привыкшую грубость. И потом, можно ли за несколько часов

совершенно оправиться от такого припадка? Можно ли добраться до плавающего острова? Слушая ту беседу, Рэнсом гадал и сомневался. Говорил Уэстон — и не Уэстон, это было очень страшно, особенно в полкой тьме. Рэнсом то и дело прогонял дичайшие мысли, а когда беседа кончилась, понял, как напряженно за ней следил. Ощутил он торжество, хотя никакой победы не одержал. Воздух просто звенел; он даже приподнялся, прислушался, но услышал только шепот теплого ветра да тихий рокот волн. Видимо, победный звон шел изнутри. Он снова лег — и понял, что все звенит вокруг, но без звука. Слава и радость проникали в самое сердце, но не через слух, словно у него появилось новое чувство… словно сейчас, при нем, запели утренние звезды… словно Переландра только что создана (ну, это, может, и правда). Он ощутил, что удалось избежать большой беды, и понадеялся, что второй попытки не будет. Потом пришло самое лучшее: он подумал, что послан сюда не как деятель, а как зритель — и почти сразу уснул.

ГЛАВА 9

За ночь погода изменилась. Рэнсом сидел на опушке леса, в котором он спал ночью, и глядел на спокойное море, где уже не было других островов. Проснувшись, он увидел, что лежит один в зарослях тростника, толстого, как молодая березка, и с густой листвой, закрывавшей сверху небо, словно плоская крыша. Оттуда свисали гладкие и яркие ягоды, похожие на ягоды остролиста, и он съел несколько на завтрак. Потом он выбрался на открытое место у кромки острова, огляделся, не увидел ни Королевы, ни Уэстона, и спокойно побрел вдоль моря. Босые ноги утопали в ярко-желтом ковре, покрываясь душистой пыльцой. Рэнсом поглядел вниз и увидел что-то очень странное. Он подумал было, что это — животное, самое причудливое из всех, кого он видел на Переландре. Но облик его был не просто странен — он был ужасен. Рэнсом опустился на одно колено, чтобы получше разглядеть, нехотя коснулся «этого» рукой — и отдернул ее, словно наткнулся на змею.

Это была изувеченная лягушка — одна из тех,

цветастых, — но с ней что-то случилось. На спине у нее была рваная рана в форме буквы «V», и нижний угол приходился сразу за головой. Кто-то разорвал ее снизу доверху, аккуратно вскрыл, словно конверт, вдоль позвоночника, так что задние ноги почти отделились от тела. Они были настолько изувечены, что прыгать она не смогла бы. На Земле это было бы мерзко, но здесь, на Переландре, Рэнсом вообще не встречал ни уродства, ни смерти, и его словно бы смаху ударили. Так боль, вернувшись, предупреждает больного, что родные лишь утешали его и он скоро умрет. Так рушится мир при первом слове *лжи* из уст надежнейшего друга. Это было хуже всего. Над золотым морем веял теплый ветер, плавучий сад под золотым небом сиял синевой, зеленью и серебром — и все это стало мишурой, красочной заставкой Страшной Книги, а текстом было вот это жуткое существо, бившееся у его ног. Он не мог ни понять, ни подавить чувство, которое его охватило. Он убеждал себя, что такие создания почти не испытывают боли — но это ничего не меняло. Сердце его сбилось с ритма не от сочувствия к чужой боли. То, что свершилось, казалось ему непристойным, стыдным, срамным. Ему казалось, что лучше бы мир не создавать, лишь

бы этого не было. Хотя он и думал (в теории), что лягушка не чувствует боли, он все же решил, что лучше ее прикончить. У него не было ни башмаков, ни камня, ни палки, и убить лягушку оказалось нелегко. Он понял, что сделал глупость, но отступать было поздно. Как ни мало «оно» страдает, он эти страданья увеличил. Возился он долго, едва ли не час, и наконец исковерканное тело совсем затихло, а Рэнсом спустился к воде умыться. Его тошнило и шатало. Казалось бы, странно, ведь он побывал на фронте, но говорят же архитекторы, что и величина здания зависит только от того, сверху или снизу мы смотрим.

Наконец он немного пришел в себя и пошел дальше, но тут же снова остановился и поглядел на землю. Ускорил шаг — остановился — и замер, закрыв руками лицо. Он просто возопил, чтобы небо прекратило этот кошмар или хотя бы объяснило его. Изувеченные лягушки лежали рядком вдоль всего берега. Осторожно обходя их, он пошел по этому следу. Десять, пятнадцать, двадцать… двадцать первая лежала там, где лес подходил к воде. Рэнсом вошел в лес, вышел с другой стороны — и снова замер на месте: перед ним стоял Уэстон, одетый, только без шлема, разделывая очередную лягушку. Спокойно, методично,

словно хирург, он воткнул в нее длинный ноготь указательного пальца, вскрыл кожу… Раньше Рэнсом не замечал, что у него такие длинные ногти. Тем временем Уэстон завершил операцию, отбросил кровавые останки, поднял голову — и глаза их встретились.

Рэнсом молчал, он просто не мог заговорить. Перед ним стоял человек, совершенно здоровый, судя по спокойной позе и поразительной силе рук. Несомненно, это был Уэстон — и рост его, и сложение, и цвет волос, и черты лица можно было узнать. И все же он страшно изменился, не то чтобы заболел, а просто умер. Лицо, склонявшееся над истерзанной лягушкой, обрело ту жуткую силу, какую обретает порою облик мертвеца, как бы отталкивающий от себя любое наше отношение. Невыразительный рот, недвижный взор, что-то каменно тяжкое в складках щек ясно говорили: «Да, у меня такое же лицо, как и у тебя, но между нами нет ничего общего». Именно это мешало Рэнсому заговорить. С какой речью, с какой мольбой, с какой угрозой можно обратиться вот к этому? И тут, отбросив логику, отбросив все привычки разума, просто не желавшего принимать эту мысль, Рэнсом понял, что перед ним — не человек, Уэстон умер, а тело не разлагается

и ходит по Переландре, движимое какой-то иной жизнью.

Существо это молча глядело на Рэнсома и вдруг улыбнулось. Все мы, и Рэнсом в том числе, не раз толковали о «дьявольской усмешке». Теперь он понял, что никогда не принимал этих слов всерьез. Улыбка не была ни горькой, ни злобной; она даже не была насмешливой. В ней было жуткое простодушие дикаря, приглашающего вас в мир своих забав, словно забавы эти приятны всякому, вполне естественны, и никому в голову не придет о них спорить. Рэнсом не видел ни стыда, ни той неловкости, какая бывает у людей, застигнутых за дурным делом и пытающихся вовлечь в него своего разоблачителя. Бывший Уэстон не грешил против добра — он добра не ведал. Рэнсом понял, что до сих пор встречался лишь с нерешительными, неполноценными грешниками. Это существо было цельным. Такое крайнее зло вышло за пределы выбора, в те пределы, которые как-то жутко похожи на невинность. Этот был за пределом греха, как Зеленая Королева была за пределом добродетели.

Он молчал и улыбался не меньше двух минут. Рэнсом шагнул вперед, сам не зная, что собирается делать, но споткнулся и упал. Почему-то

встать было трудно, и едва поднявшись, он снова потерял равновесие и снова упал. На миг он погрузился во тьму, где грохотал какой-то поезд. Потом золотое небо и пестрые волны вернулись на место, и он понял, что потерял сознание, а теперь лежит на земле, и рядом никого нет. Пока он лежал, еще не в силах пошевелиться, он вспомнил, что у старых философов читал, будто одна из худших пыток в аду — лицезрение дьявола. Он-то думал, что это причудливая выдумка; а ведь даже дети разбираются в этом лучше — любой ребенок знает, что бывает лицо, на которое просто нельзя смотреть. Дети, философы и поэты были правы. Над миром склоняется Лицо, видеть которое — величайшая радость; и в бездне нас поджидает лицо, увидеть которое — безвозвратная гибель. Человек выбирает свой путь из тысяч и тысяч, но любой из них приведет либо к блаженному, либо к гибельному лику. Рэнсом увидел лишь слепок или слабый призрак лика из бездны — и все же не был уверен, что останется в живых.

Наконец он поднялся на ноги и отправился искать это, чтобы предотвратить его свидание с Королевой или хотя бы присутствовать при нем. Он не знал, чем сможет помочь, но понимал яснее ясного, что именно ради этого он и

послан. Тело Уэстона, достигшее Переландры в космическом корабле, — орудие, как бы мост, по которому на планету проник кто-то иной, то ли высшее и первичное Зло, которое на Марсе называют порченым эльдилом, то ли один из его приспешников, разница не так уж важна. Рэнсом просто дрожал и все время спотыкался. Он понять не мог, как же после такого ужаса вообще способен и двигаться, и думать; так на войне или в болезни мы впервые понимаем, как много можем перенести. Мы говорим: «Я сойду с ума!», «Я умру», — но сохраняем и жизнь, и разум, и выполняем свой долг.

Погода изменилась. Земля, по которой он шел, колебалась, как волна. Небо побледнело, оно было скорее бледно-желтым, чем золотым; море потемнело, и стало почти бронзовым. Раза два Рэнсом присел отдохнуть. Он продвигался вперед очень медленно и лишь через несколько часов заметил на горизонте две человеческие фигуры. Земля тут же вспучилась, они исчезли из виду, только через полчаса он добрался до того места, где стояло тело Уэстона, удерживая равновесие с ловкостью, для былого Уэстона невообразимой. Оно говорило с Королевой, она слушала и, к огорчению Рэнсома, не обернулась к нему, не по-

здоровалась, даже и не заметила, как он подошел и сел на мягкий мох.

— Да, мы растем, — произносила оболочка. — Растем, когда слагаем стихи о том, чего нет; о том, что могло быть. Если ты отвергаешь это, не отвергаешь ли ты предложенный тебе плод?

— Я не от поэзии отказываюсь, — сказала она, — а только от этой одной истории, которую ты вложил в мой разум. Я могу сочинять истории про Короля и про наших детей. Я могу придумать, что рыбы летают, а звери плавают в море. Но если я сочиню историю о жизни на Твердой Земле, я не знаю, как быть с заповедью Малельдила. Я ведь не могу придумать, будто Он Сам изменил Свою волю. А если я придумаю, будто мы живем там вопреки Его запрету, то я как бы сделаю море черным, воду — непригодной, воздух — жалящим. И вообще, я не понимаю, какой прок в таких мыслях.

— Ты станешь старше, мудрее, — ответило тело Уэстона.

— Ты это точно знаешь?

— Конечно, — отвечало оно. — Именно так женщины в моем мире становятся сильными и красивыми.

— Не слушай его, — сказал Рэнсом, — отошли

его, забудь о нем!

Она впервые обернулась. С тех пор, как он видел ее, лицо ее стало чуть-чуть иным — не печальней, и не встревоженней, и все-таки было в нем какое-то легчайшее сомнение. Однако она явно обрадовалась, хотя и удивилась, а первые ее слова объяснили, почему она не поздоровалась сразу — видимо, она не представляла себе, как можно вести разговор с двумя людьми. Когда они заговорили втроем, она часто терялась — она не умела ловить две реплики или быстро переводить взгляд с одного собеседника на другого. Иногда она слушала только Рэнсома, иногда — Уэстона, но обоих сразу — никогда.

— Почему ты начал говорить прежде, чем он закончил? — спросила она. — Что вы делаете там, у себя? Вас ведь так много, и больше двоих собирается часто. Вы разговариваете по очереди? Или вы умеете слушать сразу многих? Я не умею, я еще слишком молода.

— Я вообще не хочу, чтобы ты его слушала, — сказал Рэнсом. — Он... — и тут он запнулся. «Плохой и подлый», «лживый»... — любое из этих слов для нее бессмысленно. Подумав, он вспомнил разговор о великом эльдиле, который держался за старое благо и ради него отказался от

нового. Да, только так можно объяснить ей, что такое зло. Он было заговорил — и опоздал: голос Уэстона успел его опередить.

— Этот Пятнистый человек, — произнес он, — не дает тебе меня слушать, чтобы ты не стала взрослой. Он не хочет, чтобы ты отведала плодов, которых еще не пробовала.

— Зачем же это ему?

— Разве ты не заметила, — продолжал голос, — разве ты не заметила, что Пятнистый из тех, кто отступает перед новой волной и хочет вернуть волну ушедшую? Разве он не выдал себя в первом же разговоре? Он не знал, что все обновилось с тех пор, как Малельдил стал человеком; не знал, что отныне все твари, одаренные разумом, имеют человеческий облик. Ты объяснила это ему, а он не обрадовался. Он огорчился, что больше не будет этих мохнатых существ. Он хотел бы вернуть тот, прежний мир. Потом ты просила его рассказать про смерть — и он не захотел. Он хочет, чтобы ты так и не стала взрослой, не узнала смерти. Ведь это он сказал, что можно не обрадоваться той волне, которую пошлет нам Малельдил — можно так испугаться ее, что все отдашь, лишь бы она не пришла.

— Значит, он очень молодой? — спросила Ко-

ролева.

— Мы называем это «плохой», — отвечало тело. — Он — из тех, кто отказывается от посланного ему плода ради того плода, которого он ждал или который он ел раньше.

— Что ж, сделаем его старше, — сказала Королева, и хотя она не взглянула в его сторону, Рэнсом вновь ощутил, что она — Мать и Владычица, которая желает добра и ему, и всем. А он… он ничем не мог ей помочь. Оружие выбили из его рук.

— А ты научишь меня смерти? — спросила Королева, глядя снизу вверх на тело Уэстона.

— Да, — ответило оно, — затем я и пришел, чтобы вы имели Смерть и имели ее в избытке. Но тут потребуется много мужества.

— Что такое «мужество»?

— То, что велит нам плыть, когда волны такие большие, что ты, пожалуй, предпочла бы остаться на берегу.

— А, знаю, знаю! Тогда плавать лучше всего.

— Да. Но чтобы найти смерть, а со смертью — мудрость, и мощь, и красоту, ты должна сразиться с тем, что сильнее любой волны.

— Продолжай. Я никогда не слышала таких слов. Они похожи на большие пузыри, которые растут на деревьях. Когда ты говоришь их, я…

мне… нет, не знаю, что мне приходит в голову.

— Ты услышишь и более великие слова, но сперва ты должна стать старше.

— Так сделай меня старше.

— Королева! — воскликнул Рэнсом. — Разве не лучше, чтобы Малельдил сделал тебя старше в урочное время и Своей рукой?

Лицо Уэстона не оборачивалось к нему ни разу; лишь голос его, обращенный к Королеве, возразил Рэнсому.

— Вот видишь? — сказал он. — Несколько дней назад он сам, хотя и нечаянно, показал тебе, что Малельдил уже выпускает твою руку, чтобы ты шла сама. Тогда и выросла первая ветвь — ты поняла, и стала по-настоящему старше. С тех пор Малельдил еще многому тебя научил — не Сам, через меня. Ты будешь принадлежать только самой себе, этого и хочет от тебя Малельдил. Вот почему Он разлучил тебя с Королем и отдалил от Себя. Так Он делает тебя взрослой — ты сама должна сделать себя взрослой. А твой Пятнистый хочет, чтобы ты сидела смирно и ждала, пока Малельдил все за тебя сделает.

— Что же сделать нам, чтобы Пятнистый стал старше? — спросила она.

— Я не думаю, что ты сможешь помочь ему,

пока сама не станешь старше, — ответил голос Уэстона. — Ты еще никому не можешь помочь. Ты — дерево, на котором нет плодов.

— И правда, — сказала Королева. — Продолжай.

— Так слушай, — продолжал голос. — Ты уже поняла, что ждать приказа от Малельдила, когда Малельдил хочет, чтобы ты шла сама, — тоже непослушание?

— Кажется, поняла.

— Слушаться неверно — все равно что не слушаться, — объяснил он.

На минуту Королева задумалась, потом захлопала в ладоши.

— Поняла, поняла! — воскликнула она. — Насколько старше ты меня сделал! Вот я недавно играла с одним зверем, гонялась за ним — а он понял, и побежал от меня. Если бы он стоял смирно и дал себя поймать, он послушался бы, но неправильно.

— Ты очень хорошо поняла. Когда ты совсем вырастешь, ты будешь еще красивей и мудрее, чем женщины нашего мира. Теперь ты знаешь, что так обстоит дело и с приказами Малельдила.

— Кажется, я не совсем поняла.

— Уверена ли ты, что Он всегда ждет послу-

шания?

— Как же можно не слушаться Того, Кого любишь?

— Этот зверь тоже любит тебя, но он убегал.

— Не знаю, так ли это похоже, — сказала Королева. — Тот зверь знает, когда я хочу, чтобы он убегал, когда — чтобы он подошел. А Малельдил никогда не говорил нам, что Его слова или дела могут оказаться шуткой. Разве Тот, Кого мы любим, может шутить или играть, как мы? Ведь Он — сила и радость. Ему не нужна шутка, как не нужны еда или сон.

— Я говорю не о шутке. Она только похожа на то, что я имею в виду: ты должна вынуть руку из Его руки, стать вполне взрослой, пойти избранным путем. Возможно ли это, если ты хотя бы однажды не ослушаешься Его… ну, как бы ослушаешься?

— Можно ли «как бы» ослушаться?

— Можно. Ты сделаешь то, что Он как бы запретил. А что, если запрет для того и создан, чтобы ты его нарушила?

— Если бы Он велел нам его нарушить, запрет уже не был бы запретом. А если Он не велел, откуда мы знаем, что запрет надо нарушить?

— Какой мудрой ты становишься, красави-

ца! — произнес голос Уэстона. — Конечно, если бы Он велел нарушить Его запрет, запрет уже не был бы запретом, все правильно. И Он не шутит с тобой, в этом ты тоже права. Он ждет от тебя втайне, чтобы ты и впрямь ослушалась, и впрямь стала старше. Если бы Он открыл тебе это, все лишилось бы смысла.

Помолчав, Королева сказала:

— Теперь я не пойму, в самом ли деле ты старше меня. Ведь то, что ты говоришь, — словно плод без вкуса! Если я выйду из Его воли, я получу то, чего желать невозможно. Как перестану я любить его… или Короля… или всех тварей? Это все равно что ходить по воде или плавать по суше. Ведь я не перестану ни пить, ни спать, ни смеяться! Я думала, в твоих словах есть смысл, а теперь мне кажется, что смысла в них нет. Выйдя из Его воли, я уйду в то, чего нет.

— Да, таковы все Его заповеди, кроме одной.

— Как это может быть?

— Ты и сама знаешь, что она — особенная. Все остальные Его заповеди — есть и спать, любить и наполнять этот мир своими детьми — хороши сами по себе, ты это видишь. А вот запрет жить на Твердой Земле — не такой. Ты уже знаешь, что в моем мире Он такого запрета не дал. Ты не

можешь понять, в чем тут смысл. Если бы этот запрет был так же хорош, как другие, разве Малельдил не дал бы его и всем остальным мирам? Если это — благо, Он непременно даровал бы его. Значит, блага здесь нет. Сам Малельдил указывает это тебе, вот сейчас, через собственный твой разум. Это пустой запрет, запрет ради запрета.

— Зачем же?

— Чтобы ты могла его нарушить. Зачем же еще? Сам по себе этот запрет ничуть не хорош. В других мирах его нет. Он лишает тебя оседлой жизни, ты не можешь распоряжаться ни временем своим, ни собой. Значит, Малельдил ясно показывает, что это — испытание, большая волна, в которую ты должна шагнуть, чтобы стать по-настоящему взрослой, отделенной от Него.

— Если это так важно для меня, почему же Он не вложил ничего такого в мой разум? Все исходит от тебя, чужестранец. Я не слышу Голоса, даже шепота, который подтвердил бы твои речи.

— Как ты не понимаешь? Его и не может быть! Ведь Малельдил хочет — Он очень, очень хочет, — чтобы Его создание стало совершенно самостоятельным, полагалось на свой разум и свою отвагу, пусть вопреки Ему. Как Он может это сказать? Приказ все испортит. Все, что ты

сделаешь по приказу, ты сделаешь вместе с Ним. Только это, это одно — вне Его воли, хотя он желает именно этого. Неужели ты думаешь, что Он хочет видеть в Своем творении лишь Себя Самого? Тогда зачем бы Он творил? Нет, Ему нужен Друг… Другой… тот, кто уже не принадлежит Ему всецело. Вот чего Он жаждет.

— Если б я только знала, так ли это…

— Он не скажет тебе. Он просто не может. Может Он сделать одно — поручить это другому созданию. Так Он и сделал. Разве не Его волей пересек я Глубокое Небо, чтобы научить тебя всему, чему Он хочет научить?

— Госпожа моя, — сказал наконец Рэнсом, — если я заговорю, будешь ли ты слушать меня?

— Конечно, Пятнистый! — ответила она.

— Этот человек сказал, что запрет о Твердой Земле отличается от всех прочих, потому что его нет в других мирах и потому что мы не видим, в чем его смысл. Тут он прав. Но он говорит, что запрет такой странный, чтобы ты его нарушила. А может, у этой странности — другая причина?

— Какая же?

— Я думаю, Малельдил дал тебе такой закон, чтобы ты исполнила его ради послушания. Слушаясь Малельдила, ты делаешь то, что нравится

и тебе. Ты исполняешь Его волю — но не только ради того, чтобы ее исполнить. Удовлетворится ли этим любовь? Как бы ты вкусила радость послушания, если бы не было заповеди, чей единственный смысл — соблюдение Его воли? Ты сказала, что все твари охотно послушались бы, если бы ты велела им встать на голову. Значит, тебе нетрудно понять мои слова.

— Пятнистый! — воскликнула Королева. — Это самое лучшее из всего, что ты говорил! Я стала еще старше, но совсем не так, как вот с ним. Конечно, я тебя понимаю! Из воли Малельдила мы выйти не можем, но по Его воле можем не повиноваться своей воле, нашей. Вот Он и дал нам такую заповедь, другого способа нет. Я словно вышла сквозь крышу мира в Глубокие Небеса. Там — только Любовь. Я всегда знала, что хорошо глядеть на Твердую Землю и знать, что никогда там жить не будешь, но не понимала раньше, почему это хорошо. — Лицо ее сияло, но вдруг по нему скользнула тень удивления. — Пятнистый, — спросила она, — если ты так молод, как он говорит, откуда же ты это знаешь?

— Это он говорит, что я молод, а не я.

Из уст Уэстона вновь раздался голос. Теперь он был сильнее, громче и совсем уже не походил на

тот, прежний.

— Я старше его, этого он отрицать не посмеет. Прежде, чем праматерь его праматери явилась на свет, я уже был намного, намного старше, чем он мог бы представить. Я был с Малельдилом в Глубоком Небе, куда ему не проникнуть, и слушал, о чем говорили на Предвечном совете. Я старше его и в порядке творения, он — ничто предо мною. Лгу я или не лгу?

Мертвое лицо ни разу не повернулось, но Рэнсом знал, что и говоривший, и Королева ждут его ответа. Он готов был солгать, но слова застыли у него на устах. Здесь приходилось говорить правду, даже когда правда казалась губительной. Он облизал губы, совладал с подступившей дурнотой и ответил:

— В нашем мире «старше» не всегда значит «лучше».

— Взгляни на него, — тело Уэстона обращалось только к Королеве, — смотри, как он побледнел, как влажен его лоб! Ты еще такого не видела, но увидишь не раз. Вот что бывает с жалкими тварями, когда они встают против великих. И это лишь начало!

Рэнсом содрогнулся от страха. Спасло его лицо Королевы. Она не понимала столь близкого к

ней зла, она была далека от него, словно их разделяло десять лет пути. Невинность окружала ее, невинность се защищала, и эта же невинность подвергала величайшей опасности. Она поглядела в лицо нависшей над нею смерти с удивлением, нет — с веселым любопытством, и сказала так:

— Но он ведь прав, чужеземец. Это тебя надо сделать старше, ты еще не понял про Запрет.

— Я всегда вижу целое, а он видит только часть, одну из многих сторон. Да, Малельдил дал вам возможность не поддаться собственной воле, поступить против первого из ваших желаний.

— А какое оно?

— Сейчас ты больше всего хочешь во всем повиноваться Ему. Ты хочешь остаться все такой же — Его покорной тварью, маленьким ребенком. Отказаться от этого трудно, Он нарочно сделал это трудным, чтобы отважились лишь самые лучшие, самые мудрые, самые смелые. Только они выйдут из убожества, в котором вы прозябаете, преодолеют темную волну запрета и обретут истинную Жизнь, во всей ее радости и печали.

— Послушай, — сказал Рэнсом, — он не все тебе открыл. Такой разговор ведут не впервые, и то, что он теперь предлагает, уже сделали однажды.

Давным-давно, когда история нашего мира только начиналась, там была только одна Женщина и только один Мужчина, как вы с Королем. И там он стоял, как стоит теперь пред тобою, и говорил с той женщиной. Он тоже застал ее одну. Она послушалась и сделала то, что запретил Малельдил, и не получила ни славы, ни радости. Я не могу объяснить, что с ней случилось, ты все равно не поймешь. Но вся любовь на Земле ослабела и охладела, мы еле слышим теперь голос Всевышнего, и потому утратили мудрость. Жена восстала против мужа, мать — против сына; когда они хотели есть, на деревьях не было плодов, и поиски пищи отнимали у них все время, так что жизнь стала не шире, а гораздо уже.

— Он скрыл от тебя половину, — промолвили мертвые уста. — Беды пришли, но пришла и слава. Люди своими руками создали горы выше Твердой Земли. Они сотворили плавучие острова, куда больше ваших, и по своей воле плывут через океан, обгоняя самих птиц. Не хватало пищи — и женщина отдавала единственный плод ребенку или мужу, вкушая взамен смерть; она могла отдать все, а вы в своей убогой и легкой жизни играете, ласкаетесь, ездите верхом на рыбах, но не можете сделать ничего, пока не нарушите запо-

ведь. Знание было трудно добыть, но добывшие его — их мало! — превзошли других настолько, насколько вы превосходите животных, и тысячи искали их любви…

— Я хочу спать. — внезапно сказала Королева. До этой минуты она внимала голосу, широко раскрыв глаза и даже приоткрыв рот, но когда дошло до тысяч, .искавших любви, она зевнула, не подчеркивая свою усталость и не стыдясь се, словно котенок.

— Погоди, — сказал голос, — это еще не все. Ведь он не сказал, что, не нарушь она запрет, Малельдил не пришел бы в наш мир, не стал бы Человеком. Пятнистый не посмеет это отрицать.

— Это так? — спросила Королева.

Рэнсом стиснул руки, даже суставы пальцев побелели. Все это было так нечестно, что его словно бы терзала колючая проволока. Нечестно… да, нечестно. Зачем Малельдил послал его на такую битву, когда оружия нет, ложь запрещена, правда губительна? Нечестно! Возмущение окатило его горячей волной и, словно еще большая волна, нахлынуло сомнение. А что, если враг прав? Счастливый грех Адама… Даже церковь сказала бы, что из непослушания в конце концов произошло благо. А он, Рэнсом, и вправду человек

нерешительный, всегда боялся нового, боялся сложностей. В чем же искуситель солгал? На миг перед ним предстало величественное зрелище: армии и города, корабли и библиотеки, слава и мощь и дивные стихи, водометом взлетающие ввысь. Может быть, этот прогресс — и есть конечная истина? Из всех расщелин разума, о которых он и сам не ведал, поднималось что-то мятежное, дерзкое и прекрасное — и льнуло к оболочке Уэстона. «Это Дух, Дух, — говорил внутренний голос. — Это Дух, а ты всего-навсего человек. Он неуклонно идет сквозь века, а ты всего лишь…»

— Что ты скажешь, Пятнистый? — снова спросила Королева.

Чары мигом развеялись.

— Вот что, — заговорил он, поднимаясь на ноги. — Конечно, из этого в конце концов произошло благо. Разве Малельдил — животное, которому мы преградим путь, или растение, чей рост мы остановим? Что бы мы ни делали, Он приведет нас к благу. Но это будет не то благо, которое Он уготовал нам, если б мы всегда слушались. Наш Король и наша Королева нарушили запрет — и Он привел это к благу. Но то, что они сделали, дурно, и мы не знаем, что они утратили. Есть и такие, для кого никакого блага не вышло. — Он

обернулся к мертвому лицу. — Ну, — сказал он, — расскажите ей все! Какое благо получили вы? Какая вам радость от того, что Малельдил стал Человеком? Расскажите ей, как вы счастливы, и какую пользу получили, сведя Малельдила со смертью!

Едва он произнес эти слова, как случилось нечто, едва ли возможное на Земле. Тело Уэстона закинуло голову, разинуло рот и издало долгий пронзительный вой, очень похожий на жалобный вой собаки, — и в ту же минуту, словно ничего не заметив, Королева легла на землю, закрыла глаза, мгновенно уснула, а маленький остров, где лежала женщина и стояли двое мужчин, вновь поднялся на гребень волны.

Рэнсом внимательно следил за врагом, но тот на него не глядел. Глаза его двигались, как движутся они у живого человека, но трудно было понять, на что же они смотрят и видят ли вообще. Казалось, что какая-то сила искусно удерживает их взгляд, и движет губами, но сама воспринимает все как-то иначе. Оболочка Уэстона села рядом с головой Королевы по другую сторону, вернее не «села», а что-то усадило ее, хотя никто не назвал бы ни одного совсем уж нечеловеческого движения. Рэнсому казалось, что кто-то прекрасно

изучил, как движется человек, и правильно это выполнил, не хватает лишь последнего штриха, души, творческого духа. И детский, несказанный ужас охватил его — надо бороться с трупом, с призраком, с Нелюдью.

Делать было нечего, оставалось сидеть здесь, а если надо, оберегать Королеву, пока остров вздымается на альпийские вершины волн. Все трос молчали. К ним подходили звери, прилетали птицы, глядели на них. Много часов спустя Нелюдь заговорил. Даже не глядя в сторону Рэнсома, медленно, туго, будто несмазанный механизм, он произнес:

— Рэнсом.

— Что? — спросил тот.

— Ничего, — ответил Нелюдь. Рэнсом взглянул на него с недоумением. Неужели это существо еще и сошло с ума? Нет, оно как и прежде казалось не безумным, а просто мертвым. Оно сидело тихо, свесив голову, приоткрыв рот, по-турецки скрестив ноги; желтая пыльца оседала в складках его щек, руки с длинными металлическими ногтями лежали на земле. Рэнсом отогнал мысль о безумии, и без того хватало тревожных мыслей.

— Рэнсом, — вновь произнесли эти губы.

— Ну что? — резко спросил Рэнсом.

И снова страшный голос ответил:

— Ничего.

На сей раз Рэнсом промолчал, и губы проговорили снова:

— Рэнсом, — и стали твердить: — Рэнсом… Рэнсом… Рэнсом… — сто раз подряд.

— Какого черта вам нужно? — заорал он наконец.

— Ничего, — произнес голос. Рэнсом решил молчать, но когда голос Уэстона окликнул его в тысячный раз, против воли отозвался — и снова услышал: «Ничего». С каждым разом он учился молчать, и не потому, что подавлять искушение труднее, чем услышать гнусный ответ — и то, и другое было истинной пыткой, — а потому, что ему все больше хотелось противостоять этой наглости, этой уверенности в победе. Если бы натиск был явным, сопротивляться было бы легче. Больше всего пугало сочетание зла с чем-то почти детским. К соблазнам, к богохульству, ко многим ужасам он был хоть как-то готов — но не к этой нудной настырности, словно к тебе пристает плохой мальчишка. Какой воображаемый ужас сравнится с тошнотворным чувством, копившемся в нем все эти часы? Ему казалось, что тот, кто сидит рядом, вывернут наизнанку:

снаружи что-то есть, внутри — пусто. Снаружи — великие замыслы, бунт против неба, судьбы миров, а внутри, в немой глубине, за последним покровом — просто ничего нет, разве что тьма, как у подростка, бесцельный вызов, не желающий упустить даже самого малого глумления, как не упускает любовь и малых знаков нежности. Неужели это возможно? Рэнсом уже не мог думать, и все еще молчал, раз навсегда решив, что если миллион раз слышать либо «Ничего», либо «Рэнсом», лучше уж все время слышать «Рэнсом».

А маленький остров, сверкающий, словно самоцветы, взлетал к желтому небу, зависал там, деревья его настали клониться вниз — и он быстро скользил в теплую искрящуюся долину между волнами. Королева по-прежнему спала, подложив под голову руку и чуть разомкнув губы. Глаза у нее были плотно закрыты, дышала она ровно, но лицо было не такое, как у наших спящих — оно сохраняло и разум, и живость, а тело словно бы могло вскочить в любую минуту, будто и сон для нее не состояние, но действие.

Внезапно наступила ночь. Из темноты доносилось: «Рэнсом… Рэнсом… Рэнсом». И Рэнсом подумал, что ему придется заснуть, а Нелюдю

это и нужно.

ГЛАВА 10

Он долго сидел в темноте, усталый, а потом и голодный, стараясь не прислушиваться к бесконечному: «Рэнсом-Рэнсом-Рэнсом», — и вдруг услышал разговор, начала которого не помнил, и понял, что проспал. Женщина говорила мало, голос Уэстона говорил настойчиво и мягко. Теперь этот голос не рассуждал ни о Твердой Земле, ни даже о Малельдиле. Красиво и выразительно он рассказывал одну историю за другой, и долгое время Рэнсом не мог уловить никакой связи между ними. Все это были истории о женщинах, но о самых разных временах и судьбах. Судя по ее ответам, Королева многого не понимала, но, как ни странно, Нелюдь не смущался. Если ему было трудно объяснить что-то в одной истории, он тут же бросал ее и переходил к другой. Все героини были сущими мученицами — отцы их тиранили, мужья изгоняли, возлюбленные изменяли им, дети не слушались, общество — преследовало. Но, так или иначе, все кончалось хорошо: либо прижизненной хвалой, либо — чаще — запоздалым признанием и покаянными слезами у их

могилы. Бесконечный монолог все продолжался, Королева спрашивала все реже — какое-то представление о горе и смерти у нее начало складываться, но какое именно, Рэнсом не знал и догадаться не мог. Зато он понял наконец к чему все эти рассказы. Все эти героини, в одиночку, шли на страшный риск, ради возлюбленного, или ребенка, или народа. Всех их не понимали, гнали, травили — и все они были оправданы и отомщены. Подробности Нелюдь опускал. Рэнсом подозревал, а то и знал, что на человеческом языке многие из благородных героинь именовались преступницами либо ведьмами. Но все было аккуратно прикрыто, из рассказов выступала не идея, а некий образ — величественная, прекрасная женщина, не склоняющаяся под тяжестью легшей ей на плечи ответственности за судьбу мира, одиноко и бесстрашно идет во тьму, чтобы совершить для других то, чего другие не хотят, хотя от этого зависит их жизнь. А для контраста и для фона этим богиням голос Уэстона создавал портрет мужчины. Тут он тоже ничего не говорил впрямую, но образ строил: смутно кишели какие-то жалкие существа, заносчивые, невзрослые, трусливые, упрямые и угрюмые, вросшие в землю от лени, способные на все, лишь бы ни

на что не решаться, ничем не рисковать. Только мятежная и жертвенная доблесть их женщин возвращает им истинную жизнь. Да, создавал он образ искусно. Рэнсом, лишенный мужской гордыни, на минуту-другую почти поверил ему.

Они еще говорили, когда тьму разорвали вспышки молний. Несколько секунд спустя донесся отзвук здешнего грома, рокот небесного тамбурина — и хлынул теплый дождь. Рэнсом едва его ощутил. Вспышка молнии осветила оболочку Уэстона — она сидела, неестественно выпрямившись, и Королеву — она приподнялась, опираясь на локоть, дракон у ее головы давно проснулся. Над ними высились деревья, вдали катились высокие волны. Рэнсом думал о том, что увидел. Он не мог понять, как же Королева видит это лицо, эти челюсти, словно жующие что-то, — и до сих пор не поняла, что перед нею кто-то очень плохой. По совести говоря, тут не было ничего странного. Сам он, конечно, тоже казался ей нелепым и неприятным. Она и знать не могла, как выглядит плохой, как — нормальный человек. Но сейчас он увидел на ее лице то, чего еще не видел. На Нелюдя она не глядела; нельзя было даже догадаться, слушает ли она его. Губы она плотно сжала — может быть, поджала,

брови чуть приподняла. Никогда еще она не была так похожа на земных женщин, хотя и на Земле такое лицо не часто встретишь. «Разве что на сцене, — подумал он вдруг, и содрогнулся. — Королева из трагедии». Нет, это уж слишком. Такое сравнение унижало эту Королеву. Он оскорбил ее, и не мог себе этого простить. И все же… все же… высвеченная молнией картина запечатлелась в его мозгу. Он просто не мог забыть об этом, новом выражении ее лига. Очень хорошая королева, героиня великой трагедии, прекрасно сыгранная актрисой, которая и в жизни — хороший человек… По земным понятиям, такое лицо достойно похвалы, даже почтения, но Рэнсом помнил все то, что видел раньше, — полное отсутствие эгоизма, детскую, радостную святость, и глубокий покой, напоминающий и о младенчестве, и о мудрой старости, хотя ясная молодость лица и тела отрицала и то, и это. Он помнил, и новое выражение ужасало его. Чуть-чуть, совсем немного, но она уже притязала на величие, уже играла роль, и это казалось отвратительно вульгарным. Быть может — нет, наверное — она всего-навсего откликнулась, и то в воображении, на эту новую затею — выдумывать, сочинять. Ах, лучше бы ей не откликнуться! И впервые он подумал отчетли-

во: «Больше нельзя».

— Я пойду туда, где листья укроют от дождя, — сказала она в темноте. Рэнсом до сих пор почти не чувствовал, как он промок, — в мире, где нет одежды, это не так уж важно. Но Королева встала, пошла, и он пошел за нею, пытаясь ориентироваться на слух. Кажется, Нелюдь следовал за ними. Иногда сверкала молния, и тогда из тьмы возникала стройная Королева, и Нелюдь, ковыляющий за нею в мокрой рубашке и мокрых штанах Уэстона, и дракон, поспешающий сзади. Наконец все они вышли туда, где мох был сухой и дождь над головами барабанил по жестким листьям. Здесь они снова опустились на землю.

— Однажды, — без промедления начал Нелюдь, — была у нас королева, которая правила маленькой страной…

— Тише! — перебила его Королева Переландры. — Послушаем лучше дождь. — И через минуту спросила: — Что это? Я никогда не слышала такого голоса.

И впрямь, совсем рядом с ними кто-то глухо рычал.

— Не знаю, — ответил голос Уэстона.

— А я, кажется, знаю, — сказал Рэнсом.

— Тише! — вновь сказала она, и больше той

ночью они ни о чем не говорили.

Так началась череда дней и ночей, о которых Рэнсом до конца жизни вспоминал с ужасом. Рэнсом, к сожалению, оказался прав: его враг в отдыхе не нуждался. Хорошо еще, что Королева не могла обходиться без сна. Но она и раньше высыпалась быстрее, чем Рэнсом, а теперь, быть может, и недосыпала. Стоило Рэнсому задремать — и, очнувшись, он неизменно слышал ее разговор с Нелюдем. Он смертельно устал. Он бы и вовсе не мог этого выдержать, если б Королева не отсылала иногда их обоих с глаз долой. Правда, он и в этих случаях держался поблизости от своего врага. Это было передышкой в битве, но весьма несовершенной. Он не решался оставлять Нелюдя одного — и с каждым днем выносил его все хуже. На своем опыте он узнал, как неверно, что дьявол — джентльмен. Снова и снова чувствовал он, что тонкий, вкрадчивый Мефистофель в красном плаще, с пером на шляпе и при шпаге, или даже сумрачный Сатана из «Потерянного рая», были бы куда лучше, чем существо, которое ему пришлось стеречь. Нелюдь не был даже похож на нечестного политика — скорее уж казалось, что возишься со слабоумным, или со злой мартышкой, или с очень испорченным

ребенком. Омерзение, начавшееся когда тот стал бормотать «Рэнсом, Рэнсом», преследовало его каждый день и каждый час. В разговорах с Королевой Нелюдь выказывал и ум, и тонкость, но Рэнсом скоро понял, что все это — лишь оружие, и в свободные часы для него пользоваться умом так же странно, как для солдата отрабатывать на досуге штыковой удар. Мысль была орудием, средством; сама по себе она Нелюдя не интересовала. Он брал разум взаймы, как взял тело Уэстона, будто нечто внешнее и никак с собою не связанное. Едва повернувшись к Королеве спиной, он позволял себе расслабиться. Почти все время Рэнсом спасал от него зверей и птиц. Если Нелюдю удавалось оторваться хотя бы на несколько шагов, он хватал любую птицу, любого зверя, подвернувшегося под руку, и вырывал перья или мех. Рэнсом пытался отнять жертву, и бывали жуткие минуты, когда приходилось стоять с ним лицом к лицу. До поединка дело не доходило, Нелюдь просто ухмылялся, а то и сплевывал и чуть отступал, но всякий раз Рэнсом успевал понять, как сильно он боится врага. Ведь ему все время было не только противно, но и по-детски страшно оттого, что рядом с ним обитал этот оживший мертвец, искусственно движимое

тело. Порой сама мысль, что они остались наедине, наполняла Рэнсома таким ужасом, что он готов был бежать через весь остров к Королеве и просить у нее защиты. Если рядом не было живых существ, Нелюдь удовлетворялся растениями. Он прорезал их кожу длинными ногтями, выдирал корни, обрывал листья или хотя бы выдергивал пучками мох. Любил он позабавиться и с Рэнсомом. Его тело — вернее, тело Уэстона — умело принимать непристойные позы, и нелепость их была отвратительнее их извращенности. Часами это лицо ухмылялось и строило гримасы, а потом опять начиналось: «Рэнсом… Рэнсом…». Иногда в гримасах проскальзывало страшное сходство с людьми, которых Рэнсом знал и любил на Земле. Но хуже всего были те минуты, когда в оболочку возвращался сам Уэстон. Он бормотал жалобно и робко: «Будьте осторожны, Рэнсом. Я провалился в большую черную дыру. Нет, нет, я на Переландре. Мне трудно думать, но это неважно, он думает за меня. Скоро все будет в порядке. Что ж они закрывают окна? Все в порядке, они забрали у меня голову и приставили чужую. Теперь я скоро поправлюсь. Они не дают мне посмотреть рецензии на мои статьи. Ну, я ему сказал, что если он не включит меня в первую десятку, пусть обходится

без меня. Как смеет этот щенок представлять такую работу! Он издевается над экзаменаторами. Нет, вы объясните, почему я заплатил за билет первого класса, а тут такая давка? Это нечестно. Нечестно! Снимите эту тяжесть с груди! Зачем мне одежда? Оставьте меня. Оставьте. Это нечестно. Какие огромные мухи!.. Говорят, к ним привыкаешь…» — и тут начинался звериный вой. Рэнсом так и не понял, притворяется он, или распадавшаяся психика, которая когда-то была Уэстоном, продолжала жалкое существование в сидевшем перед ним теле. Он заметил только, что у него самого совершенно исчезла прежняя ненависть. Теперь он искренне и горячо молился за эту душу. И все же то, что он чувствовал, нельзя было назвать жалостью. До сих пор, когда он думал о преисподней, погибшие души представлялись ему человеческими; теперь перед ним разверзлась бездна, которая отделяет людей от духов, и жалость почти совершенно поглотил страх, тот необоримый ужас, который испытывает жизнь перед лицом самопожирающей смерти. Если устами Нелюдя говорили останки Уэстона, значит, Уэстон уже не человек. Силы, издавна разрушавшие в нем все человеческое, завершили свою работу. Больная воля отравила понемногу

и разум, и чувства, а теперь погубила и себя, так что вся психика развалилась на куски. Остался лишь призрак — непрестанная тревога, обломки, развалины, да запах разложения. «Вот это, — думал Рэнсом, — могло ждать и меня — или ее».

Но все же в эти часы, наедине с Нелюдем, он как-то отдыхал. Работой, делом были бесконечные разговоры между Искусителем и Королевой. Трудно было проследить, как все продвигается час за часом, но дни шли, и Рэнсом убеждался, что Искуситель берет верх. Конечно, бывали и взлеты, и падения. Порой непредвиденная мелочь внезапно выбивала почву из-под ног Врага; порой и Рэнсому удавалось вмешаться в страшную беседу. Иногда он думал: «Слава Богу! Мы победили наконец», — но Враг не знал усталости, а Рэнсом уже выбивался из сил, в последние же дни он заметил, что и Королева устала. Он попросил се отослать прочь их обоих. Но она не согласилась, и слова ее показали, сколь велика уже опасность. «Как я могу отдыхать и веселиться, — сказала она, — когда дело не решено? Я не стану отдыхать, пока не пойму точно, должна ли я совершить какое-то великое дело ради Короля и детей наших детей».

Именно на этой струне играл теперь Враг. Сло-

ва «долг» Королева не знала, но как раз во имя долга он заставлял ее снова и снова думать о непослушании и убеждал, что прогнать его было бы трусостью. Каждый день, в тысяче образов, он представлял ей Великий Подвиг и Великую Жертву. Потихоньку он вытеснил мысль о том, чтобы подождать Короля и вместе принять решение. Теперь и речи не было о такой трусости!. Весь смысл се поступка, все величие в том и будет, чтобы совершить его без ведома Короля, а после он, если захочет, может отречься от нее, так что всю выгоду получит он, а весь риск (как и благородство, и своеобразие, и возвышающая душу боль) придется на ее долю. К тому же, прибавлял Искуситель, нет смысла спрашивать Короля, он наверняка будет против, таковы уж мужчины. Лучше силой дать ему свободу. Теперь, пока решает она — теперь или никогда, — можно свершить этот подвиг. «Теперь или никогда», — твердил он, пробуждая в Королеве страх, знакомый на Земле всем женщинам — а что, как она упустит великую возможность, напрасно проживет жизнь? «Словно я дерево без плодов», — говорила она. Рэнсом пытался ее убедить, что ее плодом будут дети. Но Нелюдь спросил, неужто у разделения на два пола нет иной цели, кроме размножения? Ведь

потомство можно бы обеспечить как-нибудь иначе, скажем, — как у растений. Он тут же пустился объяснять, что там, на Земле, мужчины вроде Рэнсома — отсталые самцы, боящиеся новых благ, — всегда старались ограничить женщину деторождением и знать не желали о той высшей участи, ради которой она и создана Малельдилом. Он сказал, что такие люди уже причинили немало вреда, и от нее зависит, чтобы ничего подобного не случилось на Переландре. Именно тут он и стал учить ее новым словам: Творчество, Интуиция, Духовность. Но допустил промах — когда Королева поняла, что такое «творческий», она забыла о Великом Деле и Высоком Одиночестве и долго смеялась, а потом сказала, что он еще моложе Пятнистого, и отослала их обоих.

Это было Рэнсому на руку, но утром он сорвался, и все пошло прахом. В тот день Нелюдь еще настырней толковал о самовыражении и самопожертвовании, и она все больше поддавалась обаянию, когда Рэнсом, не выдержав, вскочил и просто набросился на нее. Очень быстро, чуть ли не крича, забывая здешний язык и вставляя английские слова, он пытался объяснить, что видел эту «самоотверженность» на деле. Он стал рассказывать о женщинах, которые падали от голода,

но не садились есть, пока муж не вернется, хотя прекрасно знали, что он этого терпеть не может; о матерях, которые клали жизнь на то, чтобы выдать дочь за того, кто ей противен; об Агриппине и леди Макбет. «Неужели ты не видишь, — орал он, — что в этих словах нет смысла? Что толку говорить, будто ты хочешь сделать это ради Короля? Ты знаешь, что именно этого Король не хочет и не захочет! Разве ты — Малельдил, чтобы решать, что хорошо для него, что плохо?» Но она почти ничего не поняла, а тона — испугалась. Все это было на руку уже Нелюдю.

Сквозь все взлеты и падения, сквозь битвы, атаки и контратаки, сквозь сопротивление и отступление Рэнсом все яснее видел план кампании. Сама идея подвига и жертвы по-прежнему соединялась для Королевы с любовью к Королю, к ее еще не родившимся детям и даже к Малельдилу. Сама мысль, что Малельдил, быть может, желает именно непослушания, и была той щелью, через которую в ее разум мог хлынуть поток искушения. Но с тех пор, как Нелюдь начал свои трагические повествования, к этому прибавился самый слабый призвук театральности, самовлюбленного желания сыграть главную роль в драме своего мира. Нелюдь, без сомнений, пы-

тался усилить именно это. Он не мог преуспеть, пока такое чувство оставалось каплей в океане ее души. Вероятно, до тех пор, пока это не изменится, Королева была в безопасности — пожалуй, ни одно разумное существо не откажется от счастья ради чего-то столь смутного, как болтовня о духовности и высшем предназначении. Не откажется — пока искушение себялюбием не перевесит всего остального. Эгоизм, таящийся в идее благородного бунта, должен возрасти; и Рэнсом думал, что хотя она и смеется над Врагом, и часто дает ему отпор, он растет очень медленно, и все же явно. Конечно, все было сложно, очень сложно. Нелюдь всегда говорил почти правду. Видимо, в замысел Божий входило и то, что это счастливое созданье станет совсем взрослым, обретет свободный выбор, в некотором смысле отделится и от Бога, и от мужа, чтобы связь их стала глубже и полноценней. С самой первой встречи Рэнсом видел, как взрослеет Королева, и сам, пусть бессознательно, помогал этому. Если она победит искушение, оно станет новым, очень важным шагом все к той же цели — к более свободному, разумному и осознанному послушанию. Но именно поэтому ошибка, которая низвергнет ее в рабство ненависти и зависти,

экономики и политики, так хорошо известное нашему миру, — эта роковая ошибка так страшно похожа на правильный шаг. О том, что опасность усиливается, Рэнсом догадывался и по тому, как трудно стало напоминать о простейших исходных посылках. Королева все меньше обращала внимание на то, что изначально дано ей, — на заповедь Малельдила, на совершенно неизвестные последствия, на нынешнее счастье, столь великое, что перемена едва ли окажется к лучшему. Все это смывала бурная волна нечетких, но ярких образов, создаваемых Нелюдем, и все возрастающая важность центрального образа. Она не утратила невинности, не ведала дурных намерений, воля ее была чиста, но воображение уже наполовину заполнилось яркими и ядовитыми картинками. И снова Рэнсом подумал: «Нет, так больше нельзя»; но все его доводы были бессильны, искушение продолжалось.

Он очень устал и однажды под утро провалился в мертвый сон, а очнулся лишь к полудню. Он был один, и великий ужас охватил его. «Что же я мог поделать? Что я мог?» — вскричал он, решив, что битва проиграна. Голова у него кружилась, сердце болело, когда он брел к берегу, чтобы найти там рыбу и отправиться вслед за беглецами на

Твердую Землю. Он был так растерян и измучен, что даже не думал, как ему теперь искать эту землю, не зная, где она и сколько до нее плыть. Продравшись через лес на открытое место, он внезапно увидел, что два человека, укутанные с головы до пят, спокойно стоят перед ним на фоне золотого неба. Одеяния их были пурпурными и синими, венцы — из серебряных листьев, ноги остались босыми. Одно существо показалось ему самым прекрасным, другое — самым уродливым из детей человеческих. Они заговорили, и он понял, что перед ним — Королева и оболочка Уэстона. Одежда у них была из перьев. Рэнсом хорошо знал тех птиц, из чьих крыльев такие перья можно вырвать, но как сплести из них ткань, представить себе не мог.

— Здравствуй, Пятнистый, — сказала ему Королева. — Ты долго спал. Как тебе нравятся эти наши листья?

— Птицы… — сказал Рэнсом. — Бедные птицы! Что же он сделал с ними?

— Он где-то нашел эти перья, — беззаботно ответила она. — Птицы их роняют.

— Зачем ты это надела?

— Он снова сделал меня старше. Почему ты никогда не говорил мне, Пятнистый?

— О чем?

— Мы ведь и не знали. Он сказал, что у деревьев есть листья, у зверей — мех, а в вашем мире мужчины и женщины тоже надевают красивые одежды. Почему ты не отвечаешь, нравимся ли мы тебе? Ох, Пятнистый, неужели это — из тех благ, от которых ты отворачиваешься? Это не новость для тебя, раз все так делают в твоем мире.

— Да, — сказал Рэнсом, — но здесь все иначе. Здесь тепло.

— Так сказал и он, — ответила Королева, — но ведь у вас холодно не повсюду. Он говорит, это делают и в теплых странах.

— Он сказал, зачем это делают?

— Чтобы стать красивыми. Зачем же еще? — удивилась она.

«Слава Богу, — подумал Рэнсом, — он всего-навсего учит ее тщеславию». Он боялся худшего. Но ведь если она будет носить одежду, рано или поздно она узнает стыд, а там — и бесстыдство.

— Ну как, стали мы красивей? — перебила она его мысли.

— Нет, — ответил Рэнсом, и сразу поправился: — Не знаю.

Ответить и впрямь было нелегко. Теперь, когда наряд из перьев скрыл обыденную одежду,

Нелюдь выглядел экзотично, даже своеобразно и уж точно не был таким противным. А вот Королеве этот наряд не шел. Да, в обнаженном теле есть какая-то простота; нет, скажем так: это «просто тело». Пурпурное платье придало ее красоте величие и яркость, и все же это было уступкой более низменным представлениям. В первый (и последний) раз Рэнсом увидел в ней женщину, в которую мог бы влюбиться и человек с Земли. Этого вынести он не мог. Мысль была так уродлива, так чужда здешнему миру, что краски поблекли и угас запах цветов.

— Стали мы красивей? — настаивала Королева.

— Какая разница? — сказал он угрюмо.

— Каждый хочет быть таким красивым, каким только можно, — сказала Королева. — А я не могу увидеть саму себя.

— Можешь, — произнес голос Уэстона.

— Как же это? — спросила она, оборачиваясь к нему. — Даже если мне удастся повернуть глаза вовнутрь, я увижу тьму.

— Нет, — ответил Нелюдь. — Сейчас я покажу.

Он отошел на несколько шагов — туда, где на желтом мху лежал рюкзак Уэстона. С той напряженной отчетливостью, с какою мы видим в

минуту опасности и горя, Рэнсом разглядел все детали. По-видимому, рюкзак был куплен в том же магазине, что и его собственный. Эта мелочь напомнила ему, что Уэстон когда-то был человеком, с человеческим разумом, с человеческими радостями и горестями, и он чуть не заплакал. Страшные пальцы, уже не принадлежавшие Уэстону, расстегнули застежки, вытащили маленький блестящий предмет — карманное зеркальце за три шиллинга и шесть пенсов — и протянули Королеве. Та повертела его в руках.

— Что это? Что с ним делать? — спросила она.

— Погляди в него, — ответил Нелюдь.

— Как это?

— Гляди! — сказал он, взял зеркало и поднес к ее лицу. Довольно долго она гляделась в него, ничего не понимая. Потом вскрикнула, отшатнулась, закрыла руками лицо. Рэнсом тоже вздрогнул — впервые увидел он, что она просто поддалась чувству. Этот мир менялся слишком быстро.

— Ой! — вскрикнула она. — Что это? Я видела лицо.

— Это твое лицо, красавица, — сказал Нелюдь.

— Я знаю, — ответила она, отворачиваясь от зеркала. — Мое лицо глядело оттуда на меня. Я становлюсь старше или это что-то другое? Я

чувствую… чувствую… сердце бьется слишком сильно… Мне холодно. Что же это? — Она переводила взгляд с одного собеседника на другого. С лица ее слетела завеса, скрывавшая его тайны. Теперь оно говорило о страхе так же внятно, как лицо человека, прячущегося в бомбоубежище.

— Что это? — снова и снова спрашивала она.

— Это страх, — отвечал голос Уэстона, а лицо Уэстона ухмыльнулось Рэнсому.

— Страх… — повторила она. — Это — страх. — Она поразмышляла о новом открытии и наконец резко сказала: — Мне он не нравится.

— Он уйдет, — сказал Нелюдь, но тут Рэнсом вмешался:

— Он никогда не уйдет, если ты будешь его слушаться. Он поведет тебя от страха к страху.

— Мы бросимся в большую волну, — сказал Нелюдь, — мы минуем ее и двинемся дальше. Ты узнала страх, и видишь, что должна испытать его ради своего рода. Ты знаешь, что Король на это не решится. Да ты и не хочешь, чтобы с ним это случилось. А этой вещицы незачем бояться, ей надо радоваться. Что в ней страшного?

— Лицо одно, а их стало два, — решительно возразила Королева. — Эта штука, — она указала на зеркало, — я и не я.

— Если ты не посмотришь на себя, ты так и не узнаешь насколько ты красива.

— Я вот что думаю, чужеземец, — сказала она, — плод не может съесть сам себя — так и человек не может разговаривать сам с собою.

— Плод ничего не может, ибо он только плод, — возразил Искуситель, — а мы можем. Эта штука — зеркало. Человек может разговаривать с самим собой, и любить самого себя. Это и значит быть человеком. Мужчина или женщина может общаться с самим собой, словно с кем-то другим, и любоваться своей же красотою. Зеркало научит тебя этому искусству.

— Хорошее оно? — спросила Королева.

— Нет, — ответил Рэнсом.

— Как ты можешь знать, не попробовав? — ответил Нелюдь.

— А если ты попробуешь, и оно плохое, — сказал Рэнсом, — сможешь ли ты удержаться и больше не смотреть?

— Я уже общалась с собой, — сказала Королева, — но я еще не знаю, как я выгляжу. Если меня две, лучше уж узнать, какая же та, другая. Не бойся, Пятнистый, я погляжу разок, чтобы разглядеть лицо той женщины. Зачем мне глядеть еще?

Робко, но твердо она взяла зеркало из рук Не-

людя, и с минуту молча глядела в него. Потом опустила руку, но зеркала не выпустила.

— Как странно… — сказала она.

— Нет, красиво, — возразил Нелюдь. — Тебе ведь понравилось?

— Да.

— Ты так и не узнала то, что хотела узнать.

— А что? Я и забыла.

— Ты хотела узнать, красивее ли ты в этом платье?

— Я увидела только лицо.

— Отодвинь от себя зеркало и увидишь ту женщину целиком — ту, другую, то есть себя. Погоди, я сам его подержу!

Все эти обыденные действия были сейчас нелепыми и дикими. Королева поглядела, какова она в платье, потом — без платья, потом опять в платье, наконец решила, что в платье — хуже и бросила цветные перья на землю. Нелюдь подобрал их.

— Разве ты его не сохранишь? — спросил он. — Ты не хочешь носить его каждый день, но ведь когда-нибудь захочется…

— Сохранить? — переспросила она, не вполне понимая.

— Ах да, — сказал Нелюдь, — я и забыл! Ты же

не будешь жить на Твердой Земле, не построишь там дома и никогда не станешь госпожой своей собственной жизни. «Сохранить» — значит положить что-то туда, откуда можно взять, и где не тронут ни дождь, ни звери, ни другие люди. Я подарил бы тебе это зеркало. Это было бы Зеркало Королевы, дар из Глубоких Небес, которого нет и не будет у других женщин. Но ты мне напомнила, что в вашем мире нельзя ни дарить, ни хранить, пока вы живете изо дня в день, как звери.

Королева не слушала его. Она стояла тихо, словно у нее закружилась голова от представшего перед ней видения. Нет, она не походила на женщин, думающих о новом наряде, — лицо ее было благородным, слишком благородным. Величие, трагедия, жертва занимали ее; и Рэнсом понял, что враг затеял всю эту игру с платьем и зеркалом не для того, чтобы разбудить в ней тщеславие. Образ телесной красоты был лишь средством, чтобы приучить ее к гораздо более опасному образу — душевного величия. Искуситель хотел, чтобы она смотрела на себя извне и восхищалась собой. Он превращал ее разум в сцену, где главная роль отведена призрачному «я». Пьесу он уже сочинил.

ГЛАВА 11

В тот день Рэнсом проснулся поздно, и теперь ему было легче выдержать бессонную ночь. Море успокоилось и дождя не было. Рэнсом сидел во тьме выпрямившись и прислонившись к дереву. Оба его спутника были рядом — Королева, судя по ее тихому дыханию, спала, а Нелюдь поджидал ее пробуждения, чтобы вновь докучать ей, лишь только Рэнсом задремлет. И в третий раз, громче, чем прежде, прозвучало в душе Рэнсома: «Нет, так больше нельзя».

Враг становится все настойчивей. Если не свершится чудо, Королева обречена, она сдастся. Почему же нет чуда? Точнее — доброго чуда? Ведь сам Враг чудом попал на Переландру. Разве только аду дано творить чудеса? А что же Небо? Уже не в первый раз Рэнсом думал о Божественной справедливости. Он не мог понять, почему Малельдил оставил его, когда Враг стоит перед ним.

Но не успел он подумать, как вдруг, внезапно и ясно, понял, что Малельдил — здесь, словно сама тьма поведала ему об этом. Весть об Его присутствии, уже настигавшая его на Пере-

ландре, — желанная весть, которую разум не мог принять не противясь, — вернулась к нему. Тьма была полна, она просто давила, он едва мог дышать, и немыслимо тяжелый венец лег на его голову, так что он и думать не мог. Однако он знал, что это никогда и не уходило, только он сам, Рэнсом, подсознательно старался не замечать его в последние дни.

Роду нашему трудно совсем, совершенно молчать. Что-то не умолкает внутри, болтает и болтает, даже в самом священном месте. Рэнсом просто онемел от страха и любви, он как бы умер, но кто-то, неспособный даже на почтение, все терзал его разум возражениями и вопросами. «Ну, хорошо, — приговаривал неугомонный скептик, — а на что мне такая помощь? Враг и впрямь здесь, он и впрямь говорит и действует. Где же посланец Малельдила?»

Тьма и тишина отразили его ответ, как отражают удар теннисист и фехтовальщик — и он едва удержался на ногах. Это было кощунственно. «Да что же я могу? — не унялась половина разума. — Я сделал все, что мог. Я спорил с ним, сколько было сил. Нет, правда, ведь ничего не выходит». Он пытался убедить себя, что не может представлять Малельдила так, как Нелюдь представляет здесь

ад. Он твердил, что эта мысль — от дьявола, это гордыня, соблазн, мания величия. И снова застыл в ужасе — тьма попросту отбросила его доводы, отбросила почти нетерпеливо, и пришлось понять то, что почему-то ускользало от него: его появление на Переландре — не меньшее чудо, чем появление Врага. Да, доброе чудо, которого он жаждал, свершилось. И чудо это — он сам.

«Чепуха какая!.. — сказал неугомонный скептик. — Тоже мне чудо — смешной, пятнистый, ничего доказать не может!» Разум поспешно устремился в лазейку, поманившую надеждой на спасение. Прекрасно. Он и вправду попал сюда чудом. Стало быть, он в руках Божьих. Он сделает все, что сможет — да что там, сделал! — а за исход этой битвы отвечает Бог. Он не достиг успеха, но сделал что только мог. «Нам, смертным, не дано успехом править». Исход битвы его не касается, это дело Малельдила. Когда он истощит все силы в честной, но безнадежной борьбе, Малельдил вернет его домой. Быть может, замысел в том и заключается, чтобы Рэнсом поведал людям об истинах, которые он обрел на Венере. А судьба ее не в его руках. Она в руке Божьей. Там ей и место. Надо верить…

И вдруг словно лопнула струна скрипки. Ниче-

го не осталось от лукавых доводов. Несомненно и беспощадно тьма отвечала ему: нет, не так. Его путешествие на Переландру — не нравственное упражнение и не мнимая борьба. Да, исход — в руках Малельдила, но руки его — Королева и Рэнсом. Судьба этого мира действительно зависит от того, что они сделают в ближайший час. Это — правда, ничего не поделаешь. Они могут, если хотят, спасти невинность нового мира; а если они отступятся, она погибнет. Судьба мира зависит только от них, больше ни от кого — во всей Вселенной, во всей вечности. Это он увидел ясно, хотя еще и понятия не имел, что же ему делать.

Себялюбивая часть души торопилась возразить, но вхолостую, словно винт вытащенной на берег лодки. Это же нагло, нелепо, нечестно! Что ж, Малельдил хочет потерять мир? Какой смысл все творить и устраивать, если такие важные вещи зависят от ничтожества? И тут он вспомнил, что там, на Земле, идет война. Хилые лейтенанты и веснушчатые сержанты, которые только начали бриться, крадутся в мертвой тьме или стоят в дозоре, бодрствуя, как и он, и зная ужасную истину — все зависит от них. А там, в дали веков, Гораций стоял на мосту, и Константин решал, принять ли новую веру, и сама Ева глядела на

запретный плод, а Небеса Небес ожидали ее решения. Рэнсом стискивал зубы, он дрожал, но видел то, что открылось ему. Так, только так был создан мир. Выбирай: или ничего не зависит от тебя, или что-то зависит. Если же зависит, кто поставит этому предел? Камешек может изменить течение реки. В этот ужасный миг он — тот камень, который оказался в центре Вселенной, и эльдилы всех миров, вечные, безгрешные, светлые, замерли в глуби Небес, ожидая, как поступит Элвин Рэнсом из Кембриджа.

На минуту ему стало легче — да он ведь не знает, что в его силах! Он чуть не рассмеялся от радости. Он зря испугался. Никто не ставил перед ним точной задачи. Он должен просто противостоять Врагу — а как именно, обстоятельства подскажут. И вновь, как испуганное дитя в объятиях матери, он нашел убежище в словах «сделаю, что могу». Он сделает, что сможет, он и так делает. «Нет, сколько у нас мнимых пугал!» — пробормотал он, расслабившись и усаживаясь поудобнее. Ласковая волна подхватила его, волна разумной и радостной веры; во всяком случае, так ему показалось.

Эй, что это? Он резко выпрямился, сердце отчаянно забилось. Мысли его вновь натолкнулись

на ответ и отшатнулись, словно он коснулся раскаленной кочерги. Нет, он ослышался, это нелепость, что-то ребяческое… Он сам это выдумал. Яснее ясного, что битва с дьяволом может быть только духовной… Только дикарю придет в голову драться с ним. Если б все было так просто… Но тут себялюбивое «я» допустило роковую ошибку. Рэнсом был честен, он привык не лгать себе, и не мог притворяться, что не боится драки с Нелюдем. Ясные и яркие картины встали перед ним… Мертвенный холод рук (он однажды нечаянно коснулся их)… длинные стальные ногти.. они раздирают плоть, вытягивают жилы… Какая медленная, мучительная смерть! И до самого конца перед ним будет ухмыляться этот жестокий идиот. Господи, да ведь прежде, чем он умрет, он сдастся, будет молить о пощаде, обещать помощь, клясться в верности перед этим, да что угодно!

Как хорошо, что эта дикая мысль заведомо нелепа… Рэнсом почти убедил себя: что бы ни слышалось во тьме и тишине, грубой простой драки Малельдил замыслить не мог. Это он сам выдумал, мерещится всякая жуть. Тогда духовная брань спустится на уровень мифа. И тут Рэнсом снова запнулся. Уже на Марсе он узнал, а здесь — убедился, что отличить истину от мифа, а то

и другое — от факта можно только на Земле, где, к несчастью, грехопадение отделило тело от души. Даже у нас таинства веры напоминают, что разделение это — тяжко и никак не окончательно. Воплощение повело нас к тому, чтоб они воссоединились. Здесь же, на Переландре, они не разделялись. Все, что происходит здесь, было бы мифом на Земле. Он уже думал об этом; теперь он это знал. Тот, Кто был во тьме, вложил эту истину в его ладони, словно страшное сокровище.

На несколько мгновений эгоист в нем забыл свои доводы. Он хныкал и всхлипывал, как ребенок, который просится домой. Потом он опомнился. Он вполне разумно объяснил, почему нелепо драться с Нелюдем. Такая драка ничего не решит в борьбе духовной. Если Королева сохранит послушание только потому, что Искусителя убрали силой, какой в этом смысл? Что это докажет? Если же искушение — не испытание, не тест, зачем Малельдил допустил его? Разве наш мир был бы спасен, если бы слон случайно наступил на змия за миг до грехопадения? Неужели все так просто, так вненравственно, так нелепо?

Грозная тишина сгущалась. В ней все отчетливей проступало Лицо, оно просто глядело на тебя, глядело не без печали, не гневаясь и не возражая,

но так, что ты постепенно понимал, насколько ясна твоя ложь, и вот ты спотыкаешься, и оправдываешься, и больше не можешь говорить. Смолкло наконец и себялюбивое «я». Тьма почти сказала: «Ты знаешь сам, что напрасно тянешь время». Все ясней становилось, что ему не удастся уподобить друг другу события в райском саду и на Переландре. То, что свершилось на Земле в тот час, когда Малельдил родился Человеком в Вифлееме, навсегда изменило Вселенную. Новый мир, вот этот, не повторял старый. Ушедшая волна не вернется, как говорит Королева. Когда Ева пала, Бог еще не был человеком. Люди еще не стали членами Его тела. Теперь же Он страдает и спасает через них. Одна из целей Его замысла — спасти Переландру не через Себя, но через Себя в Рэнсоме. Если Рэнсом отступит, замысел не удастся. Для этой главы, куда более сложной, чем он думал, избран именно он. Странное чувство — удаления, умаления, исчезновения — охватило его: он понял, что не только Земля, но и Переландра в центре. Можно назвать все, что тут происходит, отдаленным следствием воплощения на Земле; можно считать земные события лишь подготовкой для новых миров, из которых Переландра — первый. И то, и другое истинно.

Одно не может быть важнее другого, все самоценно и самостоятельно, слепков и копий не бывает.

Себялюбец не унялся. До сих пор королева противилась искушению. Она устала и колебалась, быть может, ее воображение уже не так непорочно, но она не сдалась. Значит, ее история отличается от истории нашей праматери. Рэнсом не знал, сопротивлялась ли Ева, и долго ли, а уж тем паче — чем бы все кончилось, если бы она устояла. Ну, потерпел бы змей поражение, — неужели назавтра он явился бы снова, и еще назавтра, и еще? Неужели испытание длилось бы вечно? Как прекратил бы его Малельдил? Здесь, на Переландре, он думал не о том, как это предотвратить, а о том, что «так больше нельзя». Нелюдь мучает ее, не отстает, она держится, надо ей помочь, и вот тут земное грехопадение ничего не подскажет. Задача — иная, для нее нужен другой исполнитель, и им, на беду, оказался Рэнсом. Напрасно он вновь и вновь обращался к Книге Бытия, вопрошая: «Что бы случилось?» Тьма не отвечала. Неутомимо, неумолимо она напоминала ему о том, что стояло перед ним здесь и сейчас. Он уже чувствовал, что словечко «бы» бессмысленно — оно уводит в «ненастоящий мир», какого просто нет. Есть только то, что есть, а это всегда

ново. Здесь, на Переландре, испытание остановит только Рэнсом, больше никто. Голос — ведь он, в сущности, слышит голос — окружил его выбор какой-то бесконечной пустотой. Эта глава, эта страница, эта фраза может быть только тем, что есть, и ничто ее не заменит.

Рэнсом попытался найти еще одну лазейку. Как может он бороться с бессмертным? Будь он даже спортсменом или воином, а не близоруким профессором, которого до сих пор беспокоит старая рана, он и тогда не мог бы сражаться с дьяволом. Его же нельзя убить! И тут же ответ открылся ему. Можно уничтожить тело Уэстона — то, без чего Враг ничего не может сделать на Переландре. В этом теле, тогда еще повиновавшемся человеческой воле, Враг проник сюда. Если его изгнать, у него не останется здесь обиталища! Рэнсом вспомнил о бесах в Библии, которые страшились, что их ввергнут в бездну. Теперь, наконец, он с ужасом понял, что физическое действие, которое от него требовалось, не бессмысленно и не безнадежно. У обоих тела нетренированы и не очень молоды, оба вооружены лишь кулаками, ногтями и зубами. Рэнсому стало дурно от ужаса и отвращения. Убивать таким оружием живое существо (он помнил, как пытался прикончить

лягушку) — очень страшно; умирать от него — наверное, медленно — еще страшней. Он был уверен, что погибнет. «Да разве я победил хоть в одной драке?» — спросил он.

Он больше не притворялся, будто не понимает, чего от него ждут. Силы его иссякли. Он получил ответ, очень ясный, увильнуть нельзя. Голос во тьме беззвучен, но так отчетлив, что он удивлялся, как не проснулась спящая Женщина. Невозможное встало перед ним. Вот что он должен сделать; вот чего он сделать не может. Тщетно вспоминал он мальчиков, даже не верящих в Бога, — какое испытание проходят они сейчас на Земле (и ради меньшей цели!). Его воля была в том ущелье, где даже стыд не спасет, оно только темнее и глубже. Ему казалось, что он согласился бы сражаться с Уэстоном, будь у них оружие. Он решился бы даже пойти безоружным против револьвера. Но обхватить это тело, попасть в живые руки мертвеца, прижаться грудь к груди… Дикие мысли приходили к нему. Можно ослушаться, ничего страшного — потом, на Земле, он покается. Он струсит, как Петр, и его простят, как Петра. Конечно, разум его прекрасно знал ответ, но в такие минуты доводы разума — просто старые сказки. Потом иной ветер поднялся в его

душе, настроение переменилось. Быть может, он победит в борьбе, даже не очень пострадает. Но тьма не давала ему никаких, ни малейших гарантий. Будущее было темно, как она сама. «Ведь тебе не зря дано имя „Рэнсом“, — произнес Голос. Рэнсом знал, что ему не почудилось, и по весьма забавной причине: фамилия его происходила не от слова „рэнсом“, то есть „выкуп“, но от „Рэнольф сан“, „сын Ранульфа“. Он давно это знал и соединить эти два слова мог бы разве что ради забавы, ради каламбура. Но даже себялюбивое „я“ не осмелилось бы предположить, что Голос играет словами. В одну секунду Рэнсом понял, что случайное для филолога совпадение слов вовсе не случайно. Различие между осмысленным и случайным, как и между мифом и фактом, — чисто земное. Замысел так широк, что в рамках земного опыта мы не видим связи между его частями; потому наш опыт и различает случайное и неизбежное. Вне этих рамок разницы уже нет. Ему пришлось шагнуть за пределы Земли, попасть в более сложный узор, чтобы узнать, почему древние философы говорили, что за пределом земного круга исчезает случайность. Прежде, чем мать зачала его; прежде, чем предкам его было дано имя „Рэнсом“; прежде, чем слово это стало

означать „выкуп за пленных“; прежде, чем Бог создал мир, все это было так связано в вечности, что самый смысл узора зависел от того, чтобы сейчас все совпало. И он склонил голову, и застонал, и возроптал на судьбу — он просто человек, а его принуждали вступить в метафизический мир и осуществить то, о чем философы лишь размышляли.

— Я тоже Искупитель, — сказал Голос.

Рэнсом понял не сразу. Да, Тот, Кого в иных мирах называют Малельдилом, искупил мир и его, Рэнсома. Он знал это. Зачем же Голос напомнил ему? Прежде, чем пришел ответ, он ощутил, что не вынесет его, и протянул руки, словно мог от него заслониться. Но ответ настиг его. Так вот что выйдет! Если он сдастся, этот мир все равно будет искуплен. Если он не отдаст себя в жертву, жертвой станет Другой. Но ничто не повторяется. Нового распятия не будет… Может быть, и Воплощения… Будет какой-то иной подвиг любви, какое-то иное унижение, еще страшнее и прекрасней. Он увидел, как растет узор и в каждом новом мире обретает новое измерение. Небольшое зло, причиненное Сатаной на Малакандре, можно сравнить с линией; на Земле оно — уже квадрат. Если и Венера падет, зло ее будет

кубом. Невозможно вообразить, каково же тогда искупление, — но оно придет. Рэнсом и прежде знал, как много зависит от его выбора, но только теперь увидел, как велика и страшна вверенная ему свобода. По сравнению с ней весь космос мал и уютен. Сейчас он стоял на краю бездны, под бездной неба, в вихре ледяной бури. Раньше ему казалось, что он перед Господом, как Петр. Нет, все гораздо хуже — он сидит перед Ним, как Пилат! Спасение и гибель зависят только от него. Руки его, как у всех людей, от начала времен обагрены невинной кровью. Теперь он, если пожелает, может вновь омочить их в той же крови. «Господи, помилуй! — взмолился он и застонал. — Почему же я?» Но Тьма не дала ответа.

Ему все еще казалось, что от него требуют невозможного. Но незаметно произошло то, что раньше случалось с ним дважды. Во время прошлой войны он как-то уговаривал себя выполнить смертельно опасное дело; а потом, еще раз, он долго собирался с духом, чтобы отправиться в Лондон, разыскать там одного человека и сделать ему исключительно трудное признание, которого требовала справедливость. В обоих случаях это казалось немыслимым — он не думал, он просто знал, что такой, какой он есть, он этого сделать

не может; и вдруг, без ощутимого усилия воли, видел ясно, как на экране: «Завтра, примерно в это время, все уже будет позади». Это случилось с ним и теперь, но страх его, стыд, любовь, все его доводы остались прежними. Он ничуть не меньше и не больше боялся того, что ему предстояло; теперь он знал так же точно, как знал свое прошлое, что сделает это. Он мог молиться, плакать, восставать, мог петь, как мученик, и богохульствовать, как бес, — но ничего не мог изменить. Совершенно ничего. Непременно наступит миг, когда он сделает это. Будущий поступок стоял перед ним очевидно и неотменимо, словно он уже совершен. И не важно было, что этот поступок относился к той части времени, которую мы называем будущим, а не к той, которую мы зовем прошлым. Внутренняя борьба завершилась, хотя мгновенья победы вроде бы и не было. Можно сказать, что свобода выбора просто отошла в сторону, сменившись неумолимой судьбой. Точно так же можно сказать, что он освобожден от доводов страсти и обрел высшую свободу. Рэнсом так и не увидел разницы между этими двумя предположениями. Ему открылось, что свобода и предопределение — одно и то же. За свою жизнь он слышал много споров на эту тему и увидел,

что они бессмысленны.

Как только он понял, что завтра постарается убить Нелюдя, само это показалось ему уже не таким великим подвигом. Он едва мог понять, зачем обвинял себя в мании величия. Да, если отступит он, Малельдил все сделает за него. В этом смысле он действительно представляет Малельдила, но не больше, чем Ева, если бы она не тронула яблока, и всякий человек, когда совершает доброе дело. Он не равняется с Малельдилом ни личностью, ни страданием — страдания их несравнимы, как боль человека, который обжег палец, туша искру, и пожарника, погибающего в огне, потому что ту искру не погасили. Он уже не спрашивал, почему избрали его. Могли избрать другого, любого. Яркий, яростный свет, который он увидел в тот миг, на самом деле освещал всех до единого.

— Я наслал сон на твоего Врага, — сказал Голос. — Он не проснется до утра. Встань. Отойди на двадцать шагов в рощу и ложись спать. Сестра твоя тоже спит.

ГЛАВА 12

Когда наступает утро, которого мы боялись, мы просыпаемся сразу. Так и Рэнсом, едва очнувшись от сна, тут же вспомнил, что ему надо сделать. Он был один, островок слегка покачивался — шторма не было, море лишь слабо колыхалось.

Золотой свет, пробивавшийся меж синих стволов, указал ему, в какой стороне море. Он спустился туда, выкупался и, выбравшись на берег, напился воды. Несколько минут он простоял, приглаживая влажные волосы и растирая мокрые ноги. Оглядев себя, он заметил, что разницы между загоревшей и бледной частью кожи почти нет. Если бы Королева встретила его сейчас, она вряд ли назвала бы его Пятнистым. Тело было скорее цвета слоновой кости, а пальцы ног, столько дней не ведавшие обуви, отдохнули и выпрямились. Как живое существо Рэнсом нравился себе больше, чем когда-либо. Он был уверен, что у него, как после Великого Утра, больше не будет убогого, жалкого тела, и радовался, что этот инструмент так приготовился к игре прежде, чем он с ним расстанется. «Когда я проснусь и

обрету Твое подобие, — сказал он, — я порадуюсь такому телу».

А сейчас он направился в лес и случайно (думал он только об еде) наткнулся на целое облако древесных пузырей. Наслаждение было таким же, как и прежде, и даже походка у него изменилась после душа. Он думал, что будет есть в последний раз, но даже теперь считал, что не вправе выбирать излюбленные фрукты. Однако ему повезло — он наткнулся на тыковки. «Славный завтрак перед казнью», — насмешливо подумал он, роняя скорлупу и вновь испытывая наслаждение, от которого весь мир должен был пуститься в пляс. «Как бы то ни было, — думал он, — я ни о чем не жалею. Время я провел неплохо. Я побывал в раю».

Он зашел в лес чуть подальше — туда, где гуще росли деревья — и чуть не споткнулся о спящую Королеву. В это время дня она обычно не спала, и Рэнсом понял, что это Малельдил послал ей сон. «Я никогда ее больше не увижу, — прошептал он. — Я вообще не буду смотреть на женщину вот так, как теперь». Пока он стоял и глядел вниз, его терзала какая-то сиротская тоска — как бы хотел он, раз в жизни, увидеть Праматерь своего рода вот так, во славе и невинности! «Иные дары, иная

благодать, иная слава, — шептал он. — Но не эта. Этой мы не увидим. Бог все приводит к добру, и все же мы помним об утрате». Он в последний раз взглянул на Королеву и поспешил уйти. «Я был прав, — думал он на ходу. — Так больше нельзя. Пора его остановить».

Он долго блуждал среди сумрачных, но ярких зарослей, прежде чем нашел Врага. За это время он повстречал своего приятеля и в той же позе, что тогда, в первый раз, — дракон свернулся клубком вокруг дерева, но сейчас и он спал. Рэнсом вспомнил, что за все утро он не слышал чирикань я птиц, шороха гибких тел, пробирающихся меж кустов, вообще ничего не слышал, кроме рокота волн, и не видел в листве любопытных взглядов. Вероятно, Господь погрузил весь этот остров — или, быть может, весь этот мир — в глубокий сон. На мгновение Рэнсом почувствовал себя бесконечно одиноким, но тут же обрадовался, что счастливые обитатели этого мира не увидят насилия и крови.

Примерно через час, обогнув рощицу пузырей, он внезапно столкнулся лицом к лицу с Нелюдем. «Он что, уже ранен?» — подумал Рэнсом, заметив кровавые пятна у него на груди; но тут же понял, что Нелюдь, как всегда, испачкался в

чужой крови. В его умелых длинных руках слабо билась наполовину растерзанная птица, широко разинув клюв в беззвучном, задушенном вопле. Рэнсом ударил Врага, не успев даже осознать собственного намерения. Вероятно, он бессознательно вспомнил, как занимался в школе боксом, и изо всех сил нанес удар в челюсть левой рукой. Он забыл, что руки его не защищены перчатками — об этом напомнила резкая боль, когда кулак столкнулся с челюстью, и так сильно, что хрустнули пальцы, а вся рука до плеча заныла и почти отнялась. С минуту Рэнсом приходил в себя, и за это время Нелюдь успел отступить шагов на шесть. Удар тоже пришелся ему не по вкусу, он, кажется, прикусил себе язык — кровь пузырилась у него на губах. Но птицу он не выпустил.

— Значит, теперь ты попробуешь силу, — сказал он по-английски. Голос у него сел.

— Оставь птицу, — приказал Рэнсом.

— Чушь какая, — возразил Нелюдь. — Разве ты не знаешь, кто я такой?

— Я знаю, что ты такое, — ответил Рэнсом, — а какое именно, не важно.

— И ты хочешь бороться со мной? Ты, такой убогий, маленький, жалкий? — сказал Нелюдь. — Может быть, ты думаешь, Он поможет тебе? Так

думали многие. Я знаю Его дольше, чем ты. Они все надеются, что Он их спасет, а понимают что к чему, когда уже слишком поздно, — в лагере, в желтом доме, на дыбе, на костре, на кресте. Разве Он спас Себя Самого? — и Нелюдь, запрокинув голову, взвыл так, что едва не обруидлся золотой свод: — Элой, Элой, лама савахфани! Рэнсом догадался сразу, что эти слова он произнес на чистом арамейском наречии первого века. Он не цитировал, он вспоминал. Именно так звучали эти слова с креста, хранились веками в пылающей памяти изгоя, и вот этот, жутко кривляясь, передразнивал их. От ужаса Рэнсом на миг лишился чувств, и прежде, чем он пришел в себя, Нелюдь набросился на него, завывая, словно ветер в бурю. Глаза у него раскрылись так, что век вообще не было; волосы дыбом стояли на голове. Он намертво прижал противника к груди, обхватил его, впился ногтями ему в спину, отдирая длинные полосы кожи и плоти. Руки у Рэнсома были зажаты, и как он ни выкручивался, он не мог по-настоящему нанести удар. Наконец ему удалось наклонить голову, он впился зубами в правую руку Врага — сперва безуспешно, но постепенно зубы его проникли так глубоко, что тот взвыл, рванулся, а Рэнсом освободился. Пользуясь

минутной растерянностью, он обрушил на Врага град ударов, метя в сердце. Рэнсом сам не ожидал от себя такой быстроты и точности. Он слышал, как его кулаки выбивают из тела Уэстона резкие, всхлипывающие вздохи. Но вот вражьи руки снова приблизились к нему, хищно изогнутые пальцы изготовились рвать тело. Чудовище не хотело боксировать, оно хотело схватить его и рвать. Рэнсом отбил его руку — кость опять столкнулась с костью и противно заныла, — резко ударил в мясистый подбородок, и тут же когти впились уже в его правую руку. Тогда Рэнсом схватил врага за руки и скорее благодаря удаче сумел удержать его запястья.

То, что творилось в следующие минуты, сторонний наблюдатель вряд ли принял бы за поединок. Нелюдь напрягал все силы, какие только мог извлечь из тела Уэстона, стараясь вырвать руки, а Рэнсом изо всех сил старался их удержать. От напряжения противники с ног до головы обливались потом, но внешне они лениво и беззаботно слегка двигали руками. Сейчас ни один из них не мог нанести рану другому. Нелюдь вытянул шею, стремясь укусить; Рэнсом напряг руки и удерживал его на расстоянии. Казалось бы, такая борьба вообще не может кончиться.

Внезапно Нелюдь резко выбросил вперед ногу, протолкнул ее между ногами Рэнсома и зацепил того сзади под коленом. Рэнсом едва устоял. Теперь оба двигались порывисто и поспешно. Рэнсом тоже пытался подставить подножку, но не смог. Тогда он стал заламывать левую руку Врага, надеясь просто сломать ее или хотя бы вывихнуть. Усилие вынудило ослабить хватку. Враг тут же высвободил другую руку, и Рэнсом едва успел закрыть глаза, как стальные ногти разодрали ему щеку. Боль была так сильна, что Рэнсом уже не мог бить левой по ребрам противника. Через мгновение, неведомо как, они оторвались друг от друга и стояли, тяжело дыша, пристально глядя один на другого.

Выглядели оба довольно жалко. Рэнсом не мог разглядеть свои раны, но чувствовал, что весь залит кровью. От глаз Уэстона остались лишь узкие щели, тело его, там, где его не скрывали остатки разорванной рубашки, было сплошь покрыто кровоподтеками. И это, и тяжкое дыхание, и память о том, как он дрался, совершенно изменило мысли Рэнсома. Он удивился, что Враг не так уж силен. Несмотря на все доводы разума, ему казалось, что это тело обладает дьявольской, сверхчеловеческой силой. Он ждал, что эти руки

остановить не легче, чем пропеллер. Теперь, на собственном опыте, он знал, что дерется лишь с телом Уэстона. Один немолодой ученый против другого, и только. Уэстон был крепче сложен, но толст и с трудом выносил удары. Рэнсом был тоньше и лучше владел дыханием. Раньше он был уверен, что обречен, теперь над этим смеялся. Бой был равным. Он мог победить и выжить.

На этот раз первым на Врага бросился Рэнсом, и новый раунд был очень похож на предыдущий. На расстоянии побеждал Рэнсом; когда Врагу удавалось достать его зубами или когтями, приходилось туго. Разум его был ясен даже в самые тяжелые минуты. Он понимал, что исход битвы определяется очень просто: или он потеряет слишком много крови, или прежде отобьет Врагу сердце и почки.

Весь обитаемый мир крепко спал вокруг них. Не было ни зрителей, ни правил, ни судьи. Изнеможение прерывало дикий, диковинный бой и делило его на раунды. Рэнсом так и не запомнил, сколько же их было. Они повторялись, как приступы горячки, а жажда мучила больше, чем любая рана. Иногда они вместе валились наземь. Как-то раз Рэнсом, к своему удивлению, заметил, что сидит верхом на противнике и обеими ру-

ками сжимает его горло, во всю глотку распевая «Битву при Мальдоне», но тут Враг впился когтями ему в руку и принялся колотить коленями по спине, так что Рэнсом отлетел в сторону.

Еще он запомнил, как запоминают островок сознания между двумя наркозами, что снова, должно быть — в тысячный раз, двинулся навстречу Врагу, отчетливо понимая, что драться больше не может. На мгновение вместо Нелюдя ему померещилась обезьяна, но он сразу понял, что это уже бред. Он пошатнулся. И тут его охватило чувство, которое на Земле хороший человек испытать не может, — чистая, правая, неистовая ненависть. Прежде ненависть всегда соединялась у него с догадкой, что он не сумел отделить грех от грешника, и он каялся, а теперь она была чистой энергией, обратившей его руки и ноги в пылающие столпы. Перед ним стояло не существо с испорченной волей, а сама Порча, подчинившая себе чужую волю. В незапамятные времена это было личностью, но обломки личности были теперь лишь орудием яростного и внеличностного отрицания. Наверное, трудно понять, почему Рэнсом не ужаснулся, но обрадовался. Как мальчишка, добывший топор, ликует, обнаружив дерево; как мальчишка, у которого

есть цветные мелки, ликует, обнаружив целую стопку ярко-белой бумаги, так и он ликовал, узнав наконец, для чего существует ненависть. Он был счастлив, что чувство его и объект этого чувства совершенно соответствуют друг другу. В крови, дрожа от усталости, он знал, что сил у него хватит; и когда он снова бросился на воплощенную Смерть, вечный нуль вселенской математики, он и удивился, и (где-то глубже) не удивился своей силе. Руки обгоняли веления мысли; они учили его страшным вещам. Ребра у Нелюдя хрустели, хрустнула и челюсть, он просто трещал и раскалывался под ударами. Своя боль значения не имела. Рэнсом знал, что может хоть год драться вот так, ненавидеть вот такой, совершенной ненавистью.

Внезапно удар его поразил воздух. Он не сразу понял, что случилось, не мог поверить, что Нелюдь бежит. Этот миг замешательства помог Врагу — когда Рэнсом опомнился, тот как раз исчезал среди деревьев, сильно хромая и воя на бегу; одна рука бессильно свисала вдоль тела. Рэнсом бросился за ним, не сразу разглядел его среди стволов, потом заметил и припустил со всех ног, но Нелюдя не догнал.

Странная была охота — то в тени, то на свету,

то вверх, то вниз по колеблющейся земле. Они пробежали мимо дракона, мимо Королевы, улыбавшейся во сне. Тут Нелюдь склонился над ней, занес левую руку, и впился бы в жертву ногтями, но Рэнсом уже настигал его, и он не посмел задержаться. Они пробежали мимо оранжевых птиц — те спали, стоя на одной ноге, спрятав голову под крыло, словно цветущие подстриженные кусты. Они пробежали мимо желтых кенгуру — и пары, и целые семьи спали, сложив лапки на груди, как крестоносцы на старинном надгробье. Им пришлось нагнуться, когда они пробегали под деревьями — на ветках спали древесные свиньи, уютно, по-детски похрапывающие. Они прорвались сквозь заросли пузырчатых деревьев, и душ на мгновенье смыл с них усталость. Они вылетели из лесу и понеслись по широким полям, то желтым, то серебристым, по щиколотку, а то и по пояс проваливаясь в душистую росу. И снова они вбежали в лес, он ждал их в укромной долине, но, пока они приблизились, успел подняться на вершину горы. Догнать врага Рэнсом не мог, и удивлялся, как же такое искалеченное созданье несется с такой быстротой. Оно хромает — значит, вывихнул ногу, и должен на каждом шагу терпеть ужасную боль. И тут явилась жуткая

мысль: а что, если вся боль достается уцелевшим останкам Уэстона? Подумав о том, что в этом чудовище и сейчас томится существо его рода, вскормленное женщиной, он возненавидел его вдвое, и ненависть эта была совершенно особой — она не отнимала, а прибавляла силы.

Когда они выбежали леса из четвертого, прямо перед ними возникло море. Нелюдь бежал так, словно для него не было разницы между водой и сушей. Раздался громкий всплеск. Рэнсом различил темную голову на фоне медноцветного моря и обрадовался, что Уэстон выбрал именно этот путь: из всех видов спорта только в плаваньи Рэнсому удалось достичь успеха. Нырнув, он на секунду потерял врага из виду, а затем, приподнявшись над водой и отбрасывая с лица мокрые волосы (они сильно отросли за последнее время), увидел его прямо на воде, словно тот сидит на поверхности моря. Приглядевшись, Рэнсом понял, что сидит он на рыбе. Видимо, волшебная дрема зачаровала только их остров — скакун, которого оседлал Уэстон, был вполне бодр. Всадник все время наклонялся к нему и что-то делал. Рэнсом не видел, что именно, но уж конечно это чудовище знало, как подогнать живое существо.

На мгновение Рэнсома охватило отчаяние, но

он забыл, как любят человека морские скакуны. Почти тут же он обнаружил, что вода вокруг просто кишит рыбами — они прыгали и играли, старясь привлечь его внимание. Хотя они изо всех сил старались помочь, он с трудом вскарабкался на скользкую спину того, кто первым попался под руку, и расстояние между ним и врагом увеличилось. Наконец он взобрался на рыбу и, усевшись за большой пучеглазой головой, сдавил коленями бока, подтолкнул своего коня пятками и зашептал ему на ухо что-то ласковое, всячески стараясь пробудить его пыл. Рыба мощно рассекала волны, но, как он ни напрягал зрение, Рэнсому не удавалось заметить впереди Нелюдя — все загородила надвигавшаяся волна. Несомненно, Нелюдь был уже за ней.

Вскоре Рэнсом сообразил, что беспокоился напрасно — рыбы указывали ему дорогу. Склон волны пестрел огромными рыбами, каждую окружала желтая пена, а многие выбрасывали вверх длинные струи воды. Видимо, Нелюдь не учел инстинкта, который неуклонно вел этих рыб вслед за той, которую избрал человек. Все они мчались вперед, к какой-то цели, словно гончие, идущие по следу, или перелетные птицы. Поднявшись на гребень волны, Рэнсом увидел

под собой широкую впадину, похожую на долину среди его родных холмов. Далеко впереди, ближе к другому ее склону, виднелась темная, маленькая, словно игрушечная фигурка; между нею и Рэнсомом в несколько рядов растянулась рыбья стая. Теперь он не мог упустить врага, рыбы тоже гнались за ним, а уж они-то его не упустят. Рэнсом расхохотался. «Псы у меня прекрасные! — проревел он. — И чуткие, и быстрые!»

Только сейчас он обрадовался толком, что больше не сражается, даже стоять не должен. Он попытался усесться поудобнее, но тут же выпрямился от резкой боли в спине. Как последний дурак, он завел руку за спину, чтобы ощупать раны, и просто взвыл от боли. Вся спина превратилась в кровавые лохмотья, теперь они намертво присохли друг к другу. Тут же он понял, что у него еще и выбит зуб, с костяшек содрана кожа, а все тело с головы до пят пронзает какая-то глубинная, более опасная боль. Он и не знал до сих пор, что настолько изувечен.

Потом он вспомнил, что ему хочется пить. Больному, застывшему телу не так-то легко наклониться к струящейся под ним воде. Сперва он думал нагнуться, опуститься почти что вниз головой, но с первой же попытки отказался от

такой затеи. Пришлось зачерпнуть воду в сложенные ковшиком руки, но и это далось лишь с большим трудом его цепенеющему телу, он стонал и задыхался. Он очень долго добывал крошечный глоток воды, лишь раздразнивший жажду. На то, чтобы ее унять, ушло по крайней мере полчаса — полчаса отчаянной боли и непомерного наслаждения. В жизни не пробовал он ничего прекраснее этой воды, и, утолив жажду, все черпал и плескал на свое измученное тело. Мгновения эти были бы лучшими в его жизни, если 6 только спина поменьше болела, да если б он не боялся, что Е когтях у чудовища есть яд. Ноги просто прилипли к бокам рыбы, отдирать их было трудно и больно. Он потерял бы сознание, но твердил: «Нельзя», — стараясь сосредоточить взгляд на том, что близко, и думать о чем-нибудь простом.

Нелюдь по-прежнему плыл впереди, то поднимаясь, то исчезая, рыбы плыли ему вслед, а Рэнсом плыл вслед за рыбами. Их вроде бы стало больше — наверное, по дороге они встречали другие стаи и, словно снежный ком, увлекали их за собой. Вскоре появились и другие существа. Птицы, похожие на лебедей, — Рэнсом не мог разглядеть, какого они цвета, на фоне неба они были

черные, — покружились и покувыркались в воздухе, а потом выстроились длинными клиньями и тоже устремились вслед за Нелюдем. Порой раздавался их крик — самый вольный, дикий, одинокий голос, какой только слышал Рэнсом, да и вообще мог бы слышать человек. За долгие часы плавания еще ни разу не встретилась суша. Рэнсом плыл по океану, по тем пустынным местам, в которых он не был с того времени, когда прибыл на Переландру. Море неумолчно гремело в ушах, и запах его непрестанно проникал в сознание. Да, пахло именно морем, странно и тревожно, как на Земле, но не враждебно, а сладостно, словно запах теплый и золотой. Если бы он был враждебен, он не был бы так чужд — враги ведь как-то связаны друг с другом, знакомы, даже близки. Рэнсом понял, что ничего не знает об этом мире. Когда-нибудь его заселят потомки Короля и Королевы. Но миллионы лет здесь нет людей, так для кого же существуют неизмеримые пространства смеющихся пустынных волн? И лес, и рассвет на Земле просто подавали ему, как завтрак, и только тут он понял, что у природы есть свои собственные права. Непостижимый смысл, таящийся и в природе Земли, и в природе Переландры с тех незапамятных времен, как

они отделились от Солнца, смысл, который и устранит, и не устранит лишь Царь—Человек, окружил Рэнсома со всех сторон и вобрал в себя.

ГЛАВА 13

Ночь опустилась на море мгновенно, словно пролилась из огромной бутыли. Цвет и пространство исчезли, отчетливей стали звуки и боль. Мир сузился, в нем только боль и была, тупая, ноющая, иногда — пронзительная, и больше ничего, разве что шлепали плавники и на все лады шумели волны. Рэнсом почувствовал, что сползает со своей рыбы, с трудом удержался и понял, что спал, быть может — несколько часов. Значит — заснет опять, а потом опять, и так все время. Поразмыслив, он с трудом выполз из узкого седла и вытянулся во весь рост у рыбы на спине. Ноги он раздвинул, чтобы обхватить ее, руками тоже за нее ухватился, надеясь, что так не свалится даже во сне. Больше он ничего сделать не мог. Рыба плыла, и ему казалось, что он живет такой же мощной стихийной жизнью, словно превращается в рыбу.

Затем, очень нескоро, он обнаружил, что прямо под ним — человеческое лицо, и не испугался, как бывает во сне. Оно было сине-зеленое и светилось собственным светом, а глаза, гораздо больше

человеческих, напомнили о глазах тролля. Какие-то пленки по бокам походили на бакенбарды. Тут Рэнсом совсем очнулся и понял, что это не снится ему, все наяву. По-прежнему израненный и разбитый, он лежал на спине у рыбы, а рядом плыло какое-то существо вот с таким лицом. Он вспомнил, что уже видел в воде полулюдей, водяных. Сейчас он не боялся и догадывался, что это созданье тоже дивится ему, но вражды не испытывает. В сущности, им не было дела друг до друга. Встретились они случайно, как ветви разных деревьев, растревоженные ветром.

Рэнсом снова взобрался в седло. Тьма уже не была непроницаемой. Со всех сторон его окружали пятна и полосы света, и по форме пятен он смутно догадывался, где плывет рыба, а где — водяной. Движения пловцов намечали во тьме очертание волн, напоминая, что перед ним — огромное пространство. Рэнсом заметил, что водяные рядом с ним занялись едой. Перепончатыми ручками они подхватывали с поверхности воды что-то темное и жевали, а странная пища торчала у них изо рта, словно усы. С этими существами он и не пытался познакомиться, хотя дружил здесь со всеми тварями, и морской народец тоже не обращал на него внимания. В

отличие от всех животных, они, по-видимому, не служили человеку; и ему показалось, что они и люди просто поделили планету, как делят одно поле овцы и лошади. Позже он много думал об этом, но сейчас его занимали простые, насущные дела. Глядя на то, как они едят, он вспомнил, что и сам голоден, и стал гадать, съедобна ли для него их пища. Бороздя воду пальцами, он подцепил наконец растение — оно оказалось одним из простейших, вроде мелких морских водорослей, и было покрыто пузырьками, которые лопались, если на них надавить. Водоросль была плотная и скользкая, но, в отличие от земных, не соленая. Вкус ее Рэнсом описать не сумел. Напомню снова, что чувство вкуса стало здесь иным, чем на Земле, — еда приносила не только удовольствие, но и знание, которое, правда, не передашь словами. Вот и сейчас Рэнсом обнаружил, что строй его мыслей переменился. Поверхность моря стала крышей мира. Плавучие острова казались теперь тучами; он видел их так, как видят снизу, и это были коврики с бахромой. Вдруг он понял: теперь ему кажется чудом или мифом, что он ходил по ним, там, наверху. Мысли о Королеве, ее будущих детях, отдаленных потомках — все, что занимало его с тех пор, как он попал на Переландру, —

бледнели, как бледнеют сны, когда проснешься, словно великое множество забот, желаний и чувств, которым он не нашел бы названья, вытеснили их. Он испугался и, несмотря на голод, выбросил водоросли.

Должно быть, он снова заснул, ибо дальше помнил яркий дневной свет. Нелюдь все еще был впереди, и стайка рыб растянулась между ними. Птицы улетели. Только теперь он просто и трезво оценил свое положение. Судя по его опыту, разуму свойственно странное заблуждение. Когда человек попадает на чужую планету, первое время он не думает об ее размерах. Новый мир так мал по сравнению с путем через космос, что расстояния внутри этого мира уже неважны — любые два места на Марсе или на Венере казались ему районами одного города. Теперь, оглядевшись и нигде ничего не увидев, кроме золотого неба и бурлящего моря, он понял, как нелепа эта ошибка. Даже если на Переландре и есть материки, между ним и ближайшим из них может простираться пространство шириной в Тихий океан. К тому же не было никаких оснований надеяться на материки, что там — на то, что тут много плавучих островов, а уж тем более на то, что они равномерно рассеяны по всей планете.

Даже если этот нестойкий архипелаг растянулся на тысячу квадратных миль, он — песчинка в пустынном океане, охватывающем мир, который не намного меньше нашего. Скоро его рыба устанет. Она уже плывет медленно. Нелюдь, конечно, свою рыбу не пожалеет, будет понукать ее, пока не загонит насмерть. А он, Рэнсом, такого не сделает. Размышляя об этом, он глядел вперед, и вдруг его сердце замерло: одна из плывших с ним рыб намеренно вышла из ряда, выпустила пенистую струйку воды, нырнула, вынырнула в нескольких метрах от него, и предалась воле волн. Через несколько минут она скрылась из виду. Устала и вышла из игры.

Вот тут-то все муки прошедшего дня и нелегкой ночи обрушились на него, лишая веры. Пустынные волны, а тем паче — мысли, которые пришли со вкусом водоросли, заронили в его .тушу сомнение. Принадлежит ли этот мир тем, кто зовет себя Королем и Королевой? Как может принадле-

жать то, чего ты толком и не знаешь? Поистине, наивно и антропоцентрично! А этот великий запрет, от которого зависит все, неужто он и вправду так важен? Какое дело желтой пене волн и морскому народу до того, переночуют ли на скале какие-то ничтожные существа, которые, к тому

же, так далеко отсюда? Он видел, что события на Переландре и то, что описано в Книге Бытия, очень похожи; он думал, что на собственном опыте познает то, во что люди обычно только верят. Теперь и это не казалось ему существенным. В конце концов, сходство доказывает только, что и там, и тут новорожденный разум выдумывает бессмысленные табу. А Малельдил… да где Он? Если бескрайний океан и говорит о чем-то, то о совсем ином. Как во всех пустынях, здесь кое-кто есть; но не Бог, подобный нам, людям, не Личность, а то Неведомое, которому во веки веков безразличны и человек, и его жизнь. А дальше, за океаном — пустой космос. Напрасно Рэнсом напоминал себе, что побывал в «космосе» и обрел там Небо, где жизнь так полна, что для нее едва ли достаточна бесконечность. Теперь все это казалось сном. Другие мысли, над которыми он сам часто смеялся, называя их призраком империализма, поднялись в душе — он готов был принять гигантский миф нашего века, все это рассеянное вещество, все галактики, световые годы, эволюцию, все бредовые нагромождения чисел, после которых то, что имело смысл для нашей души, становится побочным продуктом бессмыслицы и хаоса. До сих пор он недооценивал эту теорию,

смеялся над плоскими преувеличениями, над жалким преклонением перед размерами, над бойкой и ненужной терминологией. Даже сейчас разум не сдавался, но сердце уже не слушалось разума. Какая-то часть души еще знала, что размер почти неважен, что величие материальной Вселенной, перед которой он вот-вот преклонится, зависит от его собственной способности сопоставлять величины и творить мифы; что число не запугает нас, пока мы не наделим его грозной тайной, которая присуща ему не больше, чем бухгалтерской ведомости. Но разум существовал как бы отдельно от него. Простая пустота и простая огромность подавили все.

Размышления эти, наверное, заняли несколько часов и поглотили все внимание. Пробудил Рэнсома звук, который он меньше всего ожидал услышать — звук человеческого голоса. Очнувшись, он обнаружил, что все рыбы покинули его, а та, на которой он плывет, еле шевелится. Нелюдь был неподалеку, больше не бежал от него, напротив — приближался. Он покачивался на своей рыбе, глаза его совсем заплыли, тело распухло и посинело, нога была сломана, рот искривлен от боли.

— Рэнсом, — жалобно позвал он.

Рэнсом промолчал. Он не хотел, чтобы тот снова начал свою игру.

— Рэнсом, Рэнсом!.. — заныл голос Уэстона. — Поговорите со мной, ради Бога!

Рэнсом изумленно взглянул на него и увидел слезы.

— Не гоните меня, Рэнсом! — сказал Враг. — Скажите мне, что случилось? Что они сделали с нами? Вы весь в крови. У меня нога сломана... — голос прервался от рыданий.

— Кто вы такой? — резко спросил Рэнсом.

— Ну пожалуйста, не притворяйтесь, вы же знаете меня! — хныкал голос. — Я Уэстон, а вы — Рэнсом, Элвин Рэнсом, филолог из Кембриджа. Мы с вами ссорились, я был неправ, простите меня. Рэнсом, вы же не оставите меня умирать в этом гиблом месте?

— Где вас учили арамейскому? — спросил Рэнсом, пристально глядя на него.

— Арамейскому? — повторил голос Уэстона. — я не понимаю, о чем вы. Нехорошо смеяться над умирающим.

— Вы и вправду Уэстон? — спросил Рэнсом. Он готов был поверить, что душа вернулась в свое тело.

— А кто же еще? — чуть не плача, срываясь,

спросил тот.

— Где вы были до сих пор? — продолжал Рэнсом.

Уэстон (если то был Уэстон) задрожал.

— А где мы? — спросил он.

— На Венере, на Переландре, — ответил Рэнсом.

— Вы нашли мой корабль? — спросил Уэстон.

— Я видел его только издали, — ответил Рэнсом. — Понятия не имею, где он теперь. Должно быть, отсюда до него миль двести.

— Мы в ловушке? — вскрикнул Уэстон. Рэнсом не ответил, и тот, повесив голову, заплакал, как младенец.

— Будет, — сказал наконец Рэнсом, — не стоит расстраиваться. В конце концов, и на Земле сейчас не так уж весело. Там ведь война. Может быть, вот сейчас немцы вдребезги разбомбили Лондон. — Жалкое существо все еще всхлипывало, и он прибавил: — Встряхнитесь, Уэстон! Это всего лишь смерть, со всеми случается. Надо же когда-нибудь умереть. Вода у нас есть, а голод без жажды не так уж страшен. Боитесь утонуть? Право же, штыковая рана или рак куда хуже.

— Вы хотите бросить меня, — сказал Уэстон.

— Я не смогу, даже если захотел бы, — возразил

Рэнсом. — Неужели вы не видите? Я точно в таком же положении, как и вы.

— Поклянитесь, что не бросите, — умолял Уэстон.

— Пожалуйста, клянусь. Куда я, по-вашему, могу деться?

Уэстон медленно огляделся и подогнал рыбу поближе к Рэнсому.

— Где… оно? — спросил он. — Ну, вы знаете… — добавил он, бессмысленно помавая рукой.

— Могу спросить вас о том же.

— Меня? — вскрикнул Уэстон. Лицо его так исказилось, что невозможно было разобрать, что именно оно выражает.

— Вы хоть знаете, что было с вами в эти дни? — спросил Рэнсом.

Уэстон снова огляделся.

— Понимаете, — сказал он, — это все правда.

— О чем вы? — спросил Рэнсом.

Вместо ответа Уэстон вдруг обрушился на него.

— Вам-то хорошо! — вопил он. — Тонуть не больно, умирать надо, то да се… Какая чушь! Что вы знаете о смерти? Сказано вам, это все правда.

— О чем вы говорите?

— Я всю жизнь занимался ерундой, — продолжал Уэстон. — Уверял себя, что мне важны

судьбы человечества… убеждал, что как-то можно сделать этот мир хоть чуточку поприличней. Полное вранье, ясно?

— Разве вы нашли то, что истинней этого?

— Нашел, — сказал Уэстон и надолго замолчал.

— Лучше повернем рыб вон туда, — заметил наконец Рэнсом, разглядев что-то в море. — А то уплывем слишком далеко.

Уэстон послушался, как бы и не понимая, что делает, и они еще долго плыли рядом, не говоря ни слова.

— Я скажу вам, где истина, — внезапно заговорил Уэстон.

— Да?

— Ребенок пробирается наверх, в ту комнату, где положили его умершую бабушку, тихонько заглядывает туда, а потом убегает, и ему снятся страшные сны. Огромная бабушка.

— Что тут истинного?

— Ребенок знает о мире то, что наука и религия изо всех сил стараются скрыть.

Рэнсом промолчал.

— Он все знает, — продолжал Уэстон. — Дети боятся идти ночью через кладбище, и взрослые смеются над ними, но дети умнее взрослых. В Африке дикари по ночам надевают маски и

проделывают мерзкие штучки, а миссионеры и чиновники называют это суеверием. Нет, черные знают о мире больше, чем белые. Грязные попы на задворках Дублина до смерти запугивают слабоумных деток. Вы скажете, это все темнота и глупость. Ну уж нет! Они ошибаются в одном — верят, что все-таки можно спастись. Нельзя. Вот вам истина. Вот вам — реальный мир. Вот его смысл.

— Я не понимаю… — начал было Рэнсом, но Уэстон его перебил.

— Вот почему надо жить как можно дольше. Все хорошее только здесь. Узенький, тоненький слой, который мы называем жизнью, — только видимость, он снаружи, а внутри — настоящий мир, ему нет конца. На один миллиметр толще слой, на один день, час, минуту — . вот что важно! Вам этого не понять, но это знает любой смертник. Вы говорите, какой смысл в отсрочке? Да весь, какой только есть!

— Никто не обязан идти туда, — сказал Рэнсом.

— Я знаю, во что вы верите, — отвечал Уэстон. — Вы ошибаетесь. Только кучка образованных людей верит в это. Человечеству виднее. Оно-то знает, Гомер знал, что все мертвые провалятся во тьму, в нижние круги. Ни смысла, ни склада, ни

лада, так, одна гниль. Призраки. Любой дикарь знает, что все духи ненавидят тех, кто еще во внешнем круге, как ненавидит старуха красивую девушку. Да, духов надо бояться. Все равно, сам тоже станешь духом.

— Вы не верите в Бога, — сказал Рэнсом.

— Это другое дело, — ответил Уэстон. — В детстве я не хуже вас ходил в церковь. В иных местах Библии больше смысла, чем вы, христиане, думаете. Разве там не сказано, что Он — Бог живых? Так оно и есть. Может, ваш Бог и есть, это не важно. Сейчас вы не понимаете — ничего, еще поймете! Вы ведь не знаете, как тонок внешний пласт, этот слой, который мы зовем жизнью. Представьте себе, что Вселенная — огромнейший шар в тоненькой корочке. Только речь не о пространстве, а о времени. Корочка и в лучших местах не толще семидесяти лет. Мы родимся на ней и всю жизнь сквозь нее просачиваемся, туда, во внутреннюю тьму, в истинную Вселенную. Умерли — и все, мы там. Если ваш Бог и существует, Он не внутри шара. Он снаружи, как Луна. Когда мы попадаем вовнутрь, Он больше не знает о нас. Он не следует туда за нами. Вы скажете, что Он вне времени — и утешитесь! Но ведь это значит, что Он снаружи, на свету, на воздухе. А мы-то живем во времени.

Мы «движемся вместе со временем». Значит, с Его точки зрения мы движемся прочь, туда, куда Он не ходил и не пойдет. Вот и все, что у нас есть и будет. Может быть, в так называемой жизни есть Бог, может быть — нет. Нам что за дело? Мы-то в ней совсем ненадолго.

— Это еще не все, — возразил Рэнсом. — Если б Вселенная была такой, мы — часть Вселенной — чувствовали бы себя вполне уютно. А если мы удивляемся, негодуем…

— Да, — прервал Уэстон, — это разумно, но и разум разумен только на поверхности. Разум никак не связан с тем, что есть. Самые обычные ученые, вот хотя бы я сам, уже обнаружили это. Неужели вы не видите, в чем смысл этих разговоров о недействительности нашей логики, об искривленном пространстве, о неопределенности в атоме? Конечно, они не говорят прямо, но они еще при жизни догадались о том, о чем узнают все умершие. Реальность не разумна, не едина, не равна себе, у нее нет ни одного из тех качеств, в которые вы верите. Можно сказать, реальности вообще нет. «Реальность» и «нереальность», «истина» и «ложь» — это все на поверхности. Надавите — и они провалятся.

— Если это правда, — возразил Рэнсом, — какой

смысл говорить об этом?

— Ни в чем нет смысла, — ответил Уэстон. — Весь смысл в том, что ни в чем нет смысла. Почему привидения пугают нас? Потому, что они — привидения. Им больше нечем заняться.

— Мне кажется, — сказал Рэнсом, — то, как человек видит мир, или любую постройку, зависит от того, где он стоит.

— Все зависит только от того, внутри он или снаружи, — сказал Уэстон. — То, что вы любите, — снаружи. Например, планета — Переландра или Земля. Или красивое тело. Все цвета и формы — только снаружи, там, где еще нет этого. А что внутри? Тьма, жара, гниль, духота, вонь.

Несколько минут они плыли молча, волны вздымались все выше, рыбы еле двигались.

— Конечно, вам и горя мало, — сказал Уэстон. — Вам, на поверхности, и дела нет до нас. Вас еще не тащили туда, вовнутрь. У меня был сон, только я еще не знал, что это правда. Мне снилось, что я умер. Лежу себе в больничной палате, вокруг лилии, лицо подкрасили, все чин-чином. И тут пришел человек, весь в лохмотьях, словно бродяга, только это не одежда, а плоть висит клочьями. Встал в ногах кровати, и ненавидит меня. «Ну-ну, — говорит. — Ну, ну. Думаешь, ты очень

красивый? Еще бы, на чистенькой простыночке, гроб готовый блестит!.. Ничего, я тоже так начинал, все мы с этого начали. Погоди, увидишь, во что ты превратишься».

— Право же, — скачал Рэнсом, — хватит, больше не надо.

— Или вот спириты, — продолжал Уэстон, не обращая на него внимания. — Я раньше думал, это чепуха. Нет, не чепуха, все верно. Заметьте, всякие красоты о смерти идут от преданий или от философов. Опыт обнаруживает совсем другое. Из брюха у медиума выползает эндоплазма — мерзкие, скользкие пленки — и складывается в огромные бессмысленные лица. Самописка пишет и пишет всякий вздор.

— Да вы в самом деле Уэстон? — резко спросил Рэнсом, обернувшись к собеседнику. Нудный, назойливый голос выговаривал слова то так отчетливо, что нельзя было не прислушаться, то так невнятно, что слух поневоле напрягался, пытаясь их разобрать. Он просто сводил Рэнсома с ума.

— Не сердитесь, — заскулил голос, — не надо на меня сердиться. Пожалейте меня. Это ужасно, Рэнсом, ужасно. Вы ничего не понимаете. Глубоко-глубоко, под всей толщей мира. Похоронены заживо. Пытаетесь думать — ничего не выходит.

Голову отняли… никак не вспомнить, какая там жизнь на поверхности. Одно ясно: в ней с самого начала смысла не было.

— Кто вы?! — закричал Рэнсом. — Откуда вы знаете, что такое смерть? Бог свидетель, я бы с радостью помог вам, если б знал, как. Объясните мне. Где вы были эти дни?

— Тише, — прервал его тот, другой, — слушайте!

Рэнсом прислушался. В окружавшем их созвучии шумов появился новый звук. Морс сильно волновалось, ветер крепчал. Вдруг Уэстон протянул руку и вцепился в руку Рэнсома.

— Господи! — завопил он. — Рэнсом, Рэнсом, помогите! Нас убьют! Убьют и сунут во тьму! Рэнсом, вы же обещали помочь! Не отдавайте меня им!

— Тихо! — крикнул Рэнсом, обозлившись, ибо это существо вопило и визжало так, что заглушило все звуки, а он очень хотел понять, что же означает новый шум, вмешавшийся в свист ветра и грохот волн.

— Это скалы, — визжал Уэстон. — Скалы, идиот! Вы что, не слышите? Там земля, скалы! Глядите сюда… нет, направо! Мы разобьемся в лепешку! Господи, вот она, тьма!

И тьма настала. Ужас охватил Рэнсома, никогда он не знал такого ужаса. Он боялся смерти, боялся перепуганного спутника, вообще всего боялся. Во тьме наступившей ночи мелькнуло облако светящейся пены. Она летела прямо вверх — там волна разбивалась о прибрежные скалы. Низко над головой, невидимые во тьме, с тревожным криком пронеслись птицы.

— Уэстон, где вы? — окликнул он. — Держитесь! Соберитесь с духом! Все, что вы говорили — вздор. Помолитесь, как ребенок, если не умеете молиться, как мужчина. Покайтесь. Возьмите меня за руку. Сейчас на Земле гибнут тысячи безусых мальчишек. А мы — ничего, справимся!

Невидимая рука крепко сжала его руку — пожалуй, крепче, чем он хотел бы.

— Не могу, не могу! — донесся вскрик.

— Ну, спокойней, не хватайтесь так! — прикрикнул Рэн-сом. Уэстон уже обеими руками сжимал его руку.

— Не могу! — снова раздался вопль.

— Эй! — крикнул Рэнсом. — Пустите! Какого дьявола… — Крепкие руки сдавили его, вырвали из седла, и вцепившись повыше щиколоток, поволокли куда-то. Напрасно цеплялся он за скользкое тело рыбы. Море сомкнулось над его

головой, а Враг тянул все глубже, в теплую глубь, и дальше, туда, где холодно.

ГЛАВА 14

«Больше нельзя не дышать, — думал Рэнсом. — Не могу. Не могу». Какие-то холодные твари скользили над его истерзанным телом. Он решил больше не сдерживать дыхание, он хотел открыть рот, вдохнуть и умереть, но воля не повиновалась ему. Не только грудь — виски лопались. Бороться он не мог, руки не дотягивались до Врага, сковавшего ему ноги. Он понял, что они всплывают, но не обрадовался — ведь он не дотянет до поверхности. Перед лицом смерти ушли мысли о будущей жизни. Бессмысленно, ничего не чувствуя, он думал. как о чужом: «Вот человек умирает». Вдруг в уши его ворвался нестерпимый шум, грохот, плеск. Рот открылся сам собой, он снова дышал. В кромешной тьме, полной отголосков, он ухватился за какой-то утес и стал отчаянно брыкаться, чтобы сбросить того, кто все еще пытался держать его ноги. Он снова был свободен и снова дрался вслепую, по пояс в воде на каменистом берегу, где острые камни ранили ноги и локти. Во тьме слышались проклятия — то его, то Уэстона, вопли, глухие удары,

хриплые вздохи. Наконец он подмял врага. Он сдавил его коленями, и услышал, как хрустнули ребра. Руками он сжал его горло. Враг рвал ему ногтями руки, но он держал его. Однажды только ему пришлось сдавить так человеческую плоть, но тогда он прижимал товарищу артерию, чтобы спасти, а не чтобы убить. Это длилось бесконечно. Враг уже не шевелился, а он все сжимал и сжимал его горло. Даже уверившись, что тот не дышит, Рэнсом остался сидеть у него на груди, и руки его, ослабив хватку, по-прежнему покоились на горле врага. Он сам едва не потерял сознание, но сосчитал до тысячи прежде, чем отпустил руки, — и все сидел на этом теле. Он не знал, Уэстон ли говорил с ним в последние часы, или то были уловки Врага. Какая разница — проклятые души как-то сливаются, их не различишь и не разделишь. То, чего пантеисты ждут от рая, можно обрести в аду. Да, они растворяются в своем повелителе, как оловянные солдатики над газовой горелкой. В конце концов, важно ли, говорил с ним сатана или один из тех, кого сатана пожрал и переварил? Главное — больше не попасться на эту удочку.

Оставалось ждать утра. Эхо уверило его, что они неведомо как попали в очень узкий залив между скалами. До утра еще было далеко, и он

горевал об этом, но решил не покидать тела, пока при свете дня его не осмотрит и, может быть, сделает еще что-то, чтобы оно уж точно не ожило. До тех пор надо было скоротать время. Каменистый берег был не очень удобен, а когда он попытался изменить позу, наткнулся на скалу. К счастью, он так устал, что был даже рад посидеть спокойно. Но это быстро прошло.

Он решил не думать, сколько осталось до утра. «Решим для верности, — сказал он себе, — что сейчас очень, очень рано, и отнимем еще два часа». Чтобы отвлечься, он пересказал себе всю историю своих приключений. Потом он читал на память отрывки из «Илиады», из «Одиссеи», «Энеиды», «Песни о Роланде», «Потерянного рая», «Калевалы», «Охоты на снарка» и стишок об индоевропейских фонетических законах, который сам и сочинил еще на первом курсе. Он долго вспоминал упущенные строки, решал шахматную задачу, набрасывал главу для книги, которую писал на Земле. Но все было мало.

Иногда он задремывал. Наконец ему показалось, что ночь была всегда. Он просто поверить не мог, что даже для измученного человека двенадцать часов тянутся так долго. А этот мучительный странный скрежет! Он удивился,

подумав о том, что здесь нет ночных ветерков, к которым он привык на Переландре. Удивился он и тому (через несколько часов), что нет и светящихся волн, на которых отдыхал бы глаз. Очень медленно он нащупал причину, она объясняла полную темноту, и была так страшна, что он даже не испугался. Собравшись с духом, он поднялся и стал нащупывать дорогу вдоль берега. Шел он медленно, но очень скоро вытянутые руки наткнулись на камень. Он встал на цыпочки, чтобы найти вершину; ее не было. «Не торопись», — прошептал он самому себе, поворачивая назад. Он миновал тело и через двадцать шагов его руки — теперь он поднял их над головой — наткнулись не на стену, а на крышу. Еще через шаг-другой крыша опустилась. Он нагнулся, потом пошел на четвереньках. Было ясно, что крыша смыкается с берегом.

Просто шатаясь от горя, он вернулся к телу. Все было ясно. Незачем ждать утра, его здесь не будет до скончания века. Быть может, он уже прождал целые сутки. Все подтверждало это — и отголоски эха, и затхлый воздух, и самый запах. Когда они боролись, их случайно пронесло в эту щель под водой и забросило в пещеру. Можно ли вернуться тем же путем? Он пошел к воде — вернее, едва он

нащупал путь, вода сама обрушилась на него, прогрохотала над головой и, отступая, повлекла за собой с такой силой, что только распластавшись на берегу и хватаясь за уступы, он удержался, его не смыло. Нет, вот в это море бросаться нельзя, он тут же разобьется о стену. Будь у него свет и будь скала, с которой можно нырнуть, наверное, удалось бы уйти поглубже, а потом вынырнуть… и то вряд ли. Но света и скалы у него не было.

Воздух был несвеж, но откуда-то шел. Другое дело, пролезет ли он в это отверстие. Он стал ощупывать камень. Это было почти безнадежно, но он никак не хотел поверить, что пещера никуда не ведет, и через некоторое время руки его наткнулись на какой-то выступ. Он на него взобрался, и не надеясь, что там уже нет стены — но ее не было. Тогда, очень осторожно, он сделал несколько шагов, ушиб ногу, засвистел от боли и постарался идти еще медленней. Потом снова наткнулся на стену, верха достать не смог, свернул направо, обошел ее, свернул налево, двинулся вперед, расшиб большой палец, потер его и опустился на четвереньки. Минут десять он пробирался вверх, то по гладкой скале, то среди камней. Наконец еще одна стена преградила ему путь; но и тут нашелся выступ на уровне груди,

на этот раз — совсем узкий. Он забрался на него и прижался лицом к скале, нащупывая, можно ли ее обойти справа или слева.

Путь он нашел, но надо было взбираться вверх, и он заколебался. Это могла быть скала, на которую он не решился бы лезть и при свете дня, совсем одетый. Но надежда шептала, что там всего каких-нибудь два метра, и через несколько минут он попадет в тот сквозной туннель, о котором сейчас все время думает. Словом, он решился идти. В сущности, он боялся не разбиться, а оказаться отрезанным от воды. Голод он вынесет, но не жажду. Несколько минут он делал такое, что никогда бы не сделал на Земле. Конечно, тьма помогала ему — он не гидел высоты, голова не кружилась. Но взбираться на ощупь нелегко. Стороннему наблюдателю он казался бы то безумно храбрым, то нелепо осторожным. Он старался не думать, что наверху, быть может, просто потолок пещеры.

Через четверть часа он куда-то выбрался — не то на очень широкий выступ, не то на вершину. Он отдохнул, зализывая раны. Потом пошел вперед, все время ожидая преграды. Шагов через тридцать он крикнул и решил, что судя по звуку, скалы впереди нет. Тогда он пошел дальше, вверх

по каменистому склону. Камушки побольше могли и поранить, но он научился поджимать пальцы ног. Даже во тьме он напрягал зрение, словно мог хоть что-то увидеть. От этого болела голова, а перед глазами мелькали цветные искры.

Путь длился так долго, что Рэнсом испугался, не движется ли он по кругу и не попал ли в галерею, которая идет под поверхностью всей планеты. Успокаивало то, что он все время двигался вверх. Тоска по свету мучила его. Он думал о нем, как голодный о еде, — воображал апрельский день, холмы, молочные облака на голубом небе, или мирное пятно света от лампы, стол с книгами, зажженную трубку. Почему-то ему казалось, что гора, на которую он взбирается, не просто темная, но черная по природе, как сажа. Он чувствовал, что руки и ноги перепачкались, и если он выйдет на свет, он увидит, что весь в чем-то черном.

Вдруг он резко ударился обо что-то головой и, оглушенный, сел. Придя в себя, он снова стал нащупывать дорогу и обнаружил, что склон смыкается с потолком. В полном отчаянии он присел, чтобы это переварить. Шум воды доносился издалека печально и тихо. Значит, он забрался слишком высоко. Наконец, почти не надеясь, он

двинулся вправо, не отрывая руки от потолка. Вскоре потолка не стало; и совсем нескоро он снова услышал шум воды. Он шел все медленнее, боясь, что его ждет водопад. Пол под ногами стал влажнее, он добрался до пруда. Слева был и вправду водопад, но нестрашный, маленький. Он опустился на колени, напился, подставил под воду голову и плечи, ожил — и пошел дальше.

Камни были скользкие, мшистые, озерца — довольно глубокие, но это не мешало идти. Минут через двадцать он добрался до вершины и, судя по отголоскам его крика, попал в очень большую пещеру. Он решил идти вдоль воды. Теперь у него была надежда, а не то, что ее подменяет в отчаянии.

Вскоре он начал тревожиться из-за шума. Последние отголоски моря давно затихли, и он слышал только мягкий шелест ручья. Но теперь к нему примешивались другие звуки — глухой всплеск, словно что-то свалилось в пруд за его спиной, и сухой скрежет, будто по камню провели железом. Сперва он решил, что все это ему чудится. Потом прислушался — и ничего не услышал; но всякий раз, как он пускался в путь, шум возникал снова. Наконец он стал совершенно отчетливым. Неужто Нелюдь ожил и преследует

его? Не может быть — ведь тот хотел не драться, а ускользнуть. Ему не хотелось думать, что эти пещеры обитаемы. Опыт учил, что обитатели, если они есть, вполне безобидны, но трудно было поверить, что безобидная тварь станет жить в таком месте. Нелюдь — или Уэстон — недавно говорил ему: «Все хорошее — только оболочка. А внутри — тьма, жара, гниль, духота, вонь». Он подумал, что если кто-то идет вслед за ним, лучше свернуть в сторону, пропустить его. Хотя, кто там знает, скорее он идет по запаху, да и вообще уйти от воды Рэнсом боялся. И шел вперед.

Он сильно вспотел — то ли от слабости, он ведь давно не ел, то ли потому, что таинственные звуки подгоняли его. Даже ручей не так уж его освежил, хотя он опускал туда ноги. Он подумал было, что, преследуют его или нет, надо бы отдохнуть — и тут увидел свет. Глаза столько раз обманывали его, что он зажмурился и сосчитал до ста. Потом поглядел, отвернулся, сел и несколько минут молился, чтобы это не чудилось. Потом поглядел опять. «Ну что ж, — сказал он себе, — если это галлюцинация, то на редкость упрямая». Слабый, маленький, дрожащий свет ждал его впереди, розоватый и такой слабый, что тьма не расступалась. Рэнсом не мог даже понять, пять

футов осталось до него или пять миль. Он поспешил вперед. Слава Богу, ручей вел именно туда.

Ему казалось, что еще далеко, но вдруг он ступил прямо в пятно света. Светлый круг лежал в центре темного глубокого озера. Войдя в воду, Рэнсом поглядел наверх. Прямо сверху шел свет, теперь явственно алый. Здесь он был достаточно ярок, чтобы осветить то, что рядом, и когда глаза привыкли к свету, Рэнсом увидел, что выходит свет из туннеля, соединявшего дыру в потолке с какой-то пещерой наверху. Он видел неровные стенки туннеля, покрытые противным студенистым мхом. На голову капала теплая вода. Вода — теплая, свет — алый… Значит, верхняя пещера освещена подземным огнем. Читатель не поймет, да и Рэнсом не понял, почему он тут же решил перебраться в верхнюю пещеру. Наверное, он просто истосковался по свету. Освещенный туннель вернул миру перспективу и расстояние, и это одно освобождало, словно ты вышел из темницы. Свет вернул ощущение пространства, без которого мы едва ли вправе называть тело своим. Он просто не мог вернуться в жуткую пустоту, в мир мрака и тьмы, мир без размера и пространства, где он так долго блуждал. А может, он немного надеялся, что преследователь отста-

нет от него, если он выберется к свету.

Это было не так легко. Он не дотягивался до отверстия. Даже подпрыгнув, он едва касался свисавшей оттуда бахромы. Наконец он придумал дикий план. Свет позволил ему разглядеть вокруг камни, и он принялся нагромождать их один на другой. Он работал лихорадочно, несколько раз приходилось все переделывать. Наконец он кончил и стоял, мокрый, на вершине своей пирамиды. Теперь оставалось рискнуть. Обеими руками он ухватил бахрому над головой, в надежде, что она выдержит, и как можно быстрее подтянулся вверх. Бахрома не оборвалась. Он забрался в туннель, упершись спиной в одну стену, ногами — в другую, как альпинист в «дымоходе». Густой мох защищал его от царапин. Вскоре он понял, что стены неровны и можно взбираться по ним, как по обычной горе.

Жар становился все сильнее. «Дурак я, что сюда забрался», — думал Рэнсом, но он уже достиг конца.

Свет сперва ослепил его. Оглядевшись, он увидел большую пещеру, настолько освещенную пламенем, что казалось, будто она — из красной глины. Слева пол скользил вниз, справа поднимался до обрыва, за которым была пламенная

бездна. В середине пещеры текла неглубокая, но широкая речка. Потолка Рэнсом не видел, а стены, уходя во тьму, извивались, словно корни березы.

Он встал на ноги, перебрался через речку (вода просто обжигала) и добрался до обрыва. Огонь уходил на тысячи футов вглубь, и он не видел другой стороны расселины, где этот огонь бушевал. Глаза его могли выдержать свет не больше секунды. Когда он отвернулся, пещера показалась ему темной. Жара измучила его. Он отошел и сел спиной к огню, пытаясь собраться с мыслями.

Преуспел он в этом совсем не так, как ожидал. Внезапно и неотвратимо, словно танки шли на толпу, он увидел себя именно так, как видел Уэстон. Он увидел, что прожил жизнь в иллюзии, в обмане. Проклятые души правы. Прелесть Переландры, невинность Королевы, муки святых и доброта обычных людей — только мнимость. То, что мы именуем мирозданием, — только оболочка, так, с четверть мили, а под ней на тысячи и тысячи миль — тьма, молчание, адский огонь, и так до самой сердцевины, где и таится реальность — бессмыслица, хаос, всесильная глупость, которой безразличны все души, против которой тщетны усилия. Что бы ни преследовало его, сейчас оно появится в этой темной влажной дыре,

из мерзкого туннеля, и он, Рэнсом, умрет. Он стал смотреть на отверстие, через которое вошел. И тут… «Так я и думал», — пробормотал он.

Медленно, ощупью, алое в отблесках огня, на пол пещеры выползало человеческое тело. Люди не двигаются так; то был Нелюдь. Сломанная нога волочилась по полу, нижняя челюсть отвисла, как у покойника, но он пытался встать на ноги. Прямо за ним у входа в туннель возникло что-то еще. Сперва — какие-то ветки; потом — семь или восемь странно расположенных огней, вроде созвездия; потом — какая-то разлезшаяся трубка, отражавшая огонь, словно полированное дерево. Рэнсом содрогнулся, когда понял, что ветки — это длинные тонкие щупальца, огни — глаза скрытой панцирем головы, а бесформенная колбаса — винное толстое тело. За этим появились совсем уж жуткие вещи: угловатые членистые ноги и второе тело, и третье. Да, эта штука состояла из трех частей, соединенных узкими перемычками; три части, связанные друг с другом, придавали ему такой вид, словно его переехали в нескольких местах. Огромное, многоногое, бесформенное чудище расположилось прямо сзади Нелюдя, и страшные тени слились воедино на стене пещеры.

«Хотят меня напугать», — подумал Рэнсом и понял, что ползучую тварь вызвал откуда-то Нелюдь, а недавние мысли наслал на него Враг. Значит, его мыслями можно вот так распоряжаться? Тут он не столько испугался, сколько разъярился, и обнаружил, что встает, подходит к Нелюдю, орет по-английски, как это ни глупо: «Да я не потерплю! Вон из моей головы! Это моя голова, не твоя! Вон!». Он кричал и уже поднял большой острый камень, подобранный у реки. «Рэнсом, — квакал Нелюдь, — погодите… Мы оба в ловушке…» — но Рэнсом уже бросился на него.

— Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа — вот вам!.. то есть аминь! — произнес Рэнсом, изо всей силы обрушивая камень на голову врага. Тот упал легко, как карандаш. Лицо его сразу же разбилось, никто его не узнал бы, но Рэнсом на него не взглянул и обернулся к чудищу. Чудища не было. Было просто существо странного вида, но отвращение исчезло, и Рэнсом уже не мог понять, как это он возненавидел эту тварь только за то, что у нее больше глаз и ног, чем у него самого. Детское отвращение к насекомым и пресмыкающимся ушло, просто исчезло, как исчезает скверная музыка, стоит только выключить радио. Видимо, все, с самого начала, было наваждением. С ним

как-то случилось так — в Кембридже он сидел у окна, писал, и вдруг ему почудилось, что по бумаге ползет многоногое, пестрое, мерзкое существо. Поглядев еще раз, он понял, что это увядший листок, потревоженный ветром; и тут же те самые изгибы, которые показались ему отвратительными, стали красивы. Вот и сейчас перед ним стояло странное, но совершенно безобидное существо. Его приманил Нелюдь, и оно, не зная, что делать, неуверенно шевелило щупальцами. Наконец, разочаровавшись в том, что видит, оно с трудом развернулось и стало спускаться через отверстие в полу. Когда мимо Рэнсома проползла последняя часть трехчленного тела, он едва не рассмеялся и подумал: «Живой трамвай».

Он обернулся к Нелюдю. У того, собственно говоря, уже не было головы, но рисковать не стоило. Ухватив неподвижное тело за щиколотки, он дотащил его до обрыва и, чуть передохнув, сбросил в огонь. Черный силуэт взметнулся над огнем — и все кончилось.

Рэнсом дополз до реки, напился. «Может, и мне конец… — думал он. — А может, отсюда есть выход… или нету. Но сегодня я больше и шагу не пройду. Даже если умру здесь. Нет и нет. Я устал — и слава Богу». Через секунду он уснул.

ГЛАВА 15

Выспавшись, Рэнсом продолжил свое подземное странствие, хотя голова у него кружилась от усталости и голода. Правда, сперва он еще долго лежал и даже лениво препирался с самим собой, стоит ли идти дальше. Как он решился идти, он не помнил. От всего пути в памяти остались лишь обрывки. Вдоль огня вела длинная галерея, там было страшное место, где прорывался пар: какой-то из многих водопадов здесь сливался с огнем. Дальше были огромные, слабо освещенные залы, полные неведомых камней — они отражали свет, сверкали, дразнили, обманывали, словно он кружился с карманным фонариком в зеркальном зале. Ему показалось (или примерещилось), что он миновал зал, созданный скорее искусством, чем природой. Там стояло два трона и два стула, слишком большие для людей. Если он и видел этот зал, то так и не понял, зачем он создан. Он прошел темный туннель, в котором гудел ветер, осыпавший его песком. Снова была тьма, и своды, и сквозняки и наконец гладкий пол, освещенный холодным зеленым спетом. Там ему показалось,

что он видит вдалеке четырех огромных жуков. Издали они были маленькие, как комары. Двигались они парами и везли повозку, а в ней стояла закутанная фигура, неподвижная, высокая, стройная. С невыносимой величавой медлительностью карета миновала его и скрылась. Да, подземелье этого мира — не для человека; но для чего-то оно создано? И Рэнсом подумал: если люди проникнут сюда, может возродиться старый обычай ублаготворять местные божества, неведомых обитателей, не оскорбляя Бога, а мудро и вежливо прося прощения за то, что ты вторгся в их владения. Существо в повозке было тварно, как и сам Рэнсом, но здесь, под землей, у него куда больше прав. Во тьме Рэнсом слышал и грохот барабанов — тра-та-та, тра-та-та-та — сперва далеко, потом вокруг себя, потом опять подальше, пока эхо не замерло в черном лабиринте. Встретился ему фонтан холодного света — колонна, сияющая так, словно она из воды, и странно пульсирующая, и не приближавшаяся к нему, сколько он ни шел, и внезапно исчезнувшая. Он так и не понял, что же это такое. Когда он увидел столько странного и поразительного, и неприятного, что я и описать не берусь, он поскользнулся во мраке и так же внезапно оказался в воде — волна подхватила

его. Он тщетно боролся, его увлекало все дальше и дальше, пока он не решил, что если его и не разобьет о стены, то унесет прямо в огненную бездну. Но туннель оказался ровным, прямым, течение — не столь уж бурным. Он даже ни разу не ударился, просто лежал на воде, и его несло вперед в гулком мраке. Длилось это долго.

Вы понимаете, конечно, что ожидание смерти, усталость, неумолчный шум совсем сбили его с толку. Он вспоминал потом, что из тьмы его вынесло в какое-то серое пространство, потом — в мешанину голубого, зеленого и белого. Над ним появлялись арки и слабо светящиеся колонны — но расплывались, словно призраки, и он о них забывал. Все это было похоже на ледяную пещеру, только здесь было слишком тепло. Сам потолок как будто струился — должно быть, в нем отражалась река. Через мгновение она вынесла Рэнсома на свет, под открытое небо, и перекувырнула, и — ошеломленного, задохнувшегося — оставила в теплой мелкой воде какой-то большой заводи.

Он очень устал и не мог пошевелиться. Воздух, тишина, одинокие крики птиц почему-то подсказали ему, что он — на вершине горы. Наконец он скорее выкатился, чем выполз из заводи на мягкий голубой мох. Оглянувшись, он увидел

реку, струящуюся из устья пещеры, которая и впрямь казалась ледяной. У самого выхода вода была пронзительно синей, но тут, рядом с ним, обретала теплый янтарный цвет. Было свежо и влажно. Склон по левую руку порос яркими кустами, а в просветах сверкал, как стекло, но все это его не заинтересовало. Из-под маленьких острых листьев свисали какие-то гроздья, до них можно было дотянуться, не вставая, и он поел, потом заснул, сам того не заметив.

Чем дальше, тем труднее рассказать, что с ним было. Он не знает, сколько дней провел вот так, ел и спал. Вроде бы два дня или три, но зажили все раны, и я думаю, скорее прошло не меньше двух недель. От этого времени, как от младенчества, остались только сны — собственно, он и был младенец, и вскармливала его сама Венера до той поры, когда он смог подняться. От столь долгого отдыха сохранилось только три впечатления — веселый шум воды; животворящий сок, который он сосал из ягод, просто ложившихся ему в руки; и наконец, песня! То в воздухе, то в долинах, далеко под ним, звенела она, проникая в сны и встречая по пробуждении. Она была беззаконной как птичье пение, но пела не птица. Звук походил не на флейту, а на виолончель — низкий, глубокий,

сочный, нежный, густо-золотистый, страстный даже, но не человеческой страстью.

Он просыпался медленно, и я не могу рассказать с его слов, как стал он замечать то место, в котором лежал. Но когда он наконец отдохнул и исцелился, вот что он увидел. Скала, с которой падала вода, была не ледяная, а из какого-то прозрачного камня. Любой ее осколок был как стекло, но сама она — подальше — казалась матовой. Если бы вы вошли в пещеру и обернулись, края арки оказались бы прозрачными, а внутри все было синим. Рэнсом так и не понял, что это за минерал.

Лежал он на синей лужайке, края ее мягко уходили вниз, а по склону, как по ступенькам, уходила вниз река. Холм был усыпан цветами, их раскачивал ветерок. Далеко внизу была лесистая равнина, но склон, огибая ее, уходил еще дальше, а уж там, в неправдоподобной дали, виднелись вершины новых гор и новые равнины, пока все не исчезало в золотистой дымке. По другую сторону долины были огромные горы, просто Гималаи, с алыми вершинами — не красными, как девонширские скалы, а именно алыми, словно их покрасили. И этот цвет, и острота вершин изумляли Рэнсома, пока он не сообразил, что в

этом новом мире и горы еще молоды. Кроме того, они могли быть дальше, чем ему казалось.

Слева и сзади все закрывали стеклянные утесы. Справа их было немного, и за ними начинался еще один склон, а шел он вверх. Резкость и четкость очертаний убеждали Рэнсома, что эти горы и впрямь очень молоды.

Если не считать песни, было очень тихо. Он видел птиц, но они летали далеко внизу. На склоне горы справа, и глуше — спереди, что-то все время журчало. Поблизости он воды не заметил, если же она текла подальше, поток, должно быть, мили в две-три шириной, а такого не бывает.

Пытаясь описать все, я опустил то, что Рэнсом собрал с трудом и долго. Так, здесь часто бывали туманы, скрывавшие все сочно-желтой или бледно-золотой завесой, словно золотой небосвод опускался совсем близко и проливал на этот мир свои сокровища.

Узнавая все больше об этом месте, Рэнсом заново узнавал и свое тело. Несколько дней он почти не шевелился, даже резкий вздох причинял ему такую боль, что он закрывал глаза. Однако она прошла на удивление быстро. Но, как для сильно разбившегося человека настоящая боль просыпается только тогда, когда подживут синяки и

ссадины, так и Рэнсом, подлечившись, ощутил, что болит главная рана. Была она в пятке, и, судя по форме, нанесли ее человеческие зубы — наши мерзкие зубы, которые впиваются, рвут, а не режут. Как ни странно, он не помнил, в какой из схваток получил эту рану. Она не гноилась, но из нес сочилась кровь, и остановить ее он никак не мог. Правда, это его не беспокоило, его вообще не трогало теперь ни прошлое, ни будущее, словно он уже не умел ни надеяться, ни бояться.

Но пришел день, когда, не собираясь покидать свое озеро — он привык к нему, как к дому — он все же почувствовал, что должен что-то предпринять. Он провел день за странной работой, которая, однако, казалась ему необходимой. Вещество прозрачных скал было слишком хрупким, он нашел острый камень другой породы, расчистил большую площадку на скале, разметил ее и наконец выбил надпись — на древнесолярном языке, но латинскми буквами:

В ЭТИХ ПЕЩЕРАХ ЛЕЖИТ ТЕЛО ЭДВАРДА РОЛЛСА УЭСТОНА УЧЕНОГО ХНАУ ИЗ МИРА, КОТОРЫЙ ЕГО ОБИТАТЕЛИ НАЗЫВАЮТ ТЕЛЛУС А ЭЛЬДИЛЫ НАЗЫВАЮТ ТУЛКАНДРОЙ. ОН РОДИЛСЯ, КОГДА МИР ЭТОТ ЗАВЕРШИЛ ТЫСЯЧА ВОСЕМЬСОТ ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ ОБОРОТ ВОКРУГ АРБОЛА

С ТОГО ДНЯ КАК МАЛЕЛЬДИЛ БЛАГОСЛОВЕННО ИМЯ ЕГО БЫЛ РОЖДЕН КАК ХНАУ НА ТУЛКАНДРЕ. ОН ИЗУЧАЛ ОСОБЕННОСТИ ТЕЛ И ПЕРВЫМ ИЗ ЖИТЕЛЕЙ ТЕЛЛУСА СОВЕРШИЛ ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ НИЖНИХ НЕБЕС НА МАЛАКАНДРУ И НА ПЕРЕЛАНДРУ, ГДЕ ВРУЧИЛ СВОЙ РАЗУМ И ВОЛЮ ПОРЧЕНОМУ ЭЛЬДИЛУ, КОГДА ТЕЛЛУС СОВЕРШАЛ ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ СОРОК ВТОРОЙ ОБОРОТ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ МАЛЕЛЬДИЛА БЛАГОСЛОВЕННО ИМЯ ЕГО

«Зря я это сделал, — удовлетворенно пробормотал он, завершив работу. — Никто никогда этого не прочтет. Но надо же оставить какую-то память. Все-таки он был великим ученым. Да и мне работа на пользу». Потом зевнул, улегся и проспал еще двенадцать часов.

На следующий день он немного погулял около пещеры. На второй день он чувствовал себя еще лучше. На третий день он был совсем здоров и готов к новым приключениям.

Рано утром он отправился в путь вдоль реки, вниз по склону. Склон здесь был обрывистый, но непрерывный, покрытый мягким мхом, и даже ноги не уставали. Через полчаса, когда вершина соседней горы оказалась так высоко, что уже исчезла из виду, а стеклянные скалы едва

светились позади, он набрел на какое-то новое растение. Он увидел целый лес низеньких, в полметра, деревьев, и с их вершин свисали длинные стебли, которые стлались по ветру параллельно земле. Постепенно он забрел по колено в живое море этих стеблей — голубое, гораздо светлее мха. Точнее так: посредине стебель был едва ли не густо-голубым, а ближе к перистым краям — сероватым, до самого нежного оттенка, словно тончайший дымок или облако на Земле. Мягкие, едва ощутимые прикосновения длинных тонких листьев, их тихий певучий шорох, их легкое движенье вернули тот торжественный восторг, который он прежде ощущал на Переландре. Теперь он понял, откуда странный звук, похожий на журчание воды, и окрестил деревья струйчатыми.

Наконец он устал, и сел, и мир изменился. Теперь стебли и листья струились над головой. Он попал в лес для карликов, под голубую крышу, непрестанно пляшущую, даруя мшистой земле то тень, то свет. Чуть позже он увидел и карликов. Во мху (он был удивительно красив) шныряли существа, которые он сперва принял за насекомых, но приглядевшись, понял, что это крошечные животные. Да, тут были мышки,

прелестные крошечные копии тех, которых он видел на Запретном Острове, размером с пчелу. Были и совсем уж дивные создания, похожие на пони или, скорее, на земного предка лошади, тоже совсем маленькие.

«Как бы мне их не раздавить», — встревожился Рэнсом, но они не так уж кишели, и убегали куда-то влево. Когда он встал, их осталось совсем немного. Он пошел дальше сквозь карликовый лес (это было немного похоже, будто он катится на водных лыжах, только по древесным верхушкам). Потом начался настоящий, высокий лес, пересекла путь река, он достиг долины и понял, что дальше придется идти по склону, вверх. Там была глубокая янтарная тень, торжественные деревья, утесы, водопады, и снова — та, дивная песня. Теперь она звучала так громко и так полнозвучно, что Рэнсом свернул в сторону посмотреть, откуда же она доносится — и оказался в другой части леса, где пришлось пробираться сквозь густые, цветущие, безобидные заросли. Голову усыпали лепестки, тело блестело от пыльцы, все поддавалось под пальцами, каждый шаг пробуждал новые благоухания, на диво, почти до муки прекрасные. Песня звучала очень громко, но кусты росли так плотно, что он ничего перед собой

не видел. И вдруг песня оборвалась. Он кинулся на шорох и треск сломанных сучьев, но ничего не нашел. Он решил было отказаться от поисков, и тут песня опять зазвучала чуть подальше. Он снова пошел на голос, и снова неведомый певец успел от него убежать. Наверное, они играли в прятки не меньше часа, пока эти поиски были вознаграждены.

Когда песня зазвучала особенно громко, он потихоньку подобрался и, отведя рукой цветущую ветвь, увидел в глубине кустов что-то черное. Теперь он двигался вперед, пока существо пело, и замирал на месте, как только оно смолкнет. Минут через десять ему удалось подойти совсем близко, а оно пело, уже не замечая его. Оно сидело по-собачьи, оно было черное, стройное, лоснящееся, очень крупное, гораздо выше Рэнсома. Прямые передние ноги казались деревцами, огромные подошвы были не меньше верблюжьих. Большое округлое брюхо сверкало белизной, шея уходила круто вверх, как у лошади. Голову Рэнсом увидел сбоку — из широко открытой пасти вырывались ликующие звуки, музыка просто струилась по лоснящемуся горлу. С удивлением смотрел он на большие влажные глаза, на нервные ноздри — и тут существо замолкло, заметило его, отбе-

жало и остановилось, уже на четвереньках, в нескольких шагах. Теперь было видно, что оно не меньше слоненка, а хвост у него длинный и пушистый. Рэнсом подумал, что оно боится его, но оно охотно подошло, когда он его окликнул, ткнулось мягким носом ему в ладонь и терпело, пока Рэнсом его гладил. Едва он убрал руку, оно опять отскочило и даже, склонив длинную шею, спрятало голову в передних лапах. В общем, ничего не вышло, оно исчезло, а Рэнсом не пошел за ним вслед — он уважал его лесную застенчивость, его кротость и дикость, и ясно видел, что оно хочет остаться для всех только песней в самой сердцевине заповедного леса. Он пошел дальше; и за его спиной — еще громче, еще радостней — раздались ликующие звуки, словно странное существо благодарило гимном за вновь обретенное одиночество.

Теперь он прилежно шел вверх и вскоре выбрался из лесу к подножью небольшой горы. Он и тут пошел круто вверх, опираясь порой на руки, но почему-то не уставал. Снова повстречал он карликовые деревья, но теперь, на ветру, стебли струились по склону горы синим водопадом, что течет по ошибке в гору. Когда ветер стихал хотя бы на мгновенье, концы стеблей под собственной

тяжестью отгибались против течения, словно гребешки волн в бурю. Рэнсом долго шел через этот лес, не чувствуя потребности в отдыхе, но иногда все же отдыхая. Он был уже так высоко, что хрустальные горы вновь оказались в поле зрения, теперь уже под ним. За ними он разглядел множество таких же гор, кончавшихся гладким зеркальным плоскогорьем. Под обнаженным Солнцем нашего мира они были бы до рези яркими, но здесь их мягкое мерцание все время менялось, вбирая в себя те оттенки, которые небо Переландры заимствует у океана. Слева горы были зеленоватые. Рэнсом потел дальше и, постепенно оседая, исчезли и горы, и равнина, а за ними поднялось тонкое сияние, как будто аметисты, изумруды и золото обратились в пар и растворились в воздухе. Наконец, сияние стало кромкой далекого моря, высоко над горами. Море росло, горы уменьшались, и уже казалось, что горы позади просто лежат в огромной чаше, но впереди был еще нескончаемый склон, то голубой, то лиловый в дымке колеблющихся стеблей. Уже не видна была лесная долина, где он повстречал диковинного певца, и та гора, с которой он отправился в путь, стала маленьким холмом у подножья великого склона, птицы исчезли, ни

одно существо не пробегало по карликовому лесу, а Рэнсом все шел вперед, и не уставал, только кровь потихоньку сочилась из раны. Он не чувствовал ни страха, ни одиночества, он ничего не хотел и даже не думал, что непременно надо взобраться на гору. Это восхождение было для него не действием, а состоянием, образом жизни, и он был вполне доволен. Однажды ему подумалось, что он уже умер и не устает потому, что у него нет тела. Рана в пятке напомнила ему, что он жив, но и загробное странствие не было бы прекраснее и удивительнее.

Ночь он провел под благоуханной, шелестящей, надежной крышей, а наутро снова пустился в путь. Сперва он пробирался сквозь густой туман. Миновав его, он увидел, что забрался очень высоко — вогнутая чаша моря была уже не только впереди, но и справа, и слева, а на пути к ней, уже совсем близко, оставались светло-алые скалы. Между двумя передними скалами был проход, в глубине его виднелось что-то мягкое, пушистое. И тут странные чувства овладели им — он знал, что должен войти в тайную ложбинку, которую стерегут эти скалы, и знал, что не смеет туда войти. Ему мерещился ангел с огненным мечом, но он знал, что Малельдил велит ему идти.

«Это самый благочестивый и самый кощунственный поступок», — думал он, и шел вперед. Он уже был в проходе. Скалы оказались не алыми — они были всплошную покрыты цветами, вроде лилий, но цвет у них был как у роз. Вскоре он уже, ступая по цветочному ковру, топтал их на ходу, и только здесь стала незаметна кровь, сочившаяся из раны.

Пройдя между двумя скалами, он глянул вниз — вершина горы образовала неглубокую чашу — и увидел маленькую долину, такую же заповедную, как небесная долина среди облаков. Она была чистейшего алого цвета, ее окружали горы, а посредине лежало озеро, тихое и чистое, как золото здешнего неба. Алые лилии устилали ее всплошную, очерчивая все выступы и закутки. Медленно, трепетно, с трудом он прошел еще несколько шагов. У кромки воды он увидел что-то белое. Что это, алтарь или белые цветы среди алых? Могила? Чья же? Нет, не могила, гроб пустой и открытый — крышка лежала рядом.

Он понял. Гроб был точно такой, как тот, в котором он, силой ангелов, переместился с Земли на Венеру. Значит, он в нем вернется. С тем же чувством он мог сказать: «Это для моих похорон». И тут обнаружил — что-то странное случилось

с цветами; и со светом; и с воздухом. Сердце забилось сильнее, вернулось странное знакомое ощущение, что он вдруг уменьшился — и он ясно понял, что предстоит двум эльдилам. Он стоял и молчал. Не ему подобало говорить первым.

ГЛАВА 16

Голос, ясный, как далекий звон колоколов, бесплотный голос послышался в воздухе — и Рэнсома охватила дрожь.

— Они ступили на сушу и начинают восхождение, — сказал голос.

— Сын Адама уже здесь, — сказал другой.

— Взгляни на него и возлюби, — сказал первый. — Он всего только прах, наделенный дыханием, и едва коснувшись, мы его погубим. К лучшим его помыслам примешиваются такие, что, помысли мы это, свет наш угаснет. Но тело его — тело Малельдила, и грехи его прощены. Даже имя его на его языке — Элвин, друг эльдилов.

— Как много ты знаешь! — сказал второй голос.

— Я был внизу, в воздушной оболочке Тулкандры, — сказал первый, — которую сами они зовут Землею. Воздух этот полон темных существ, как Глубокие Небеса — светлых. Я слышал, пленники говорят там на разных, разобщенных языках, и Элвин научил меня различать их.

По этим словам Рэнсом угадал, что это — Уарса

Малакандры, великий владыка Марса. Голоса он узнать не мог, он у всех эльдилов одинаковый, речь их достигает нашего слуха не благодаря естеству — легким и устам, но благодаря особому уменью.

— Если можно, Уарса, — сказал Рэнсом, — поведай мне, кто твой спутник.

— Уарса — она, — ответил голос. — Здесь это не мое имя. Я Уарса там, у себя, здесь я только Малакандра.

— А я — Переландра, — сказал другой голос.

— Не понимаю, — сказал Рэнсом. — Королева говорила мне, что в этом мире нет эльдила.

— До сегодняшнего дня они не видели моего лица, — сказал второй голос. — Оно отражалось в небесном своде, в воде, в пещерах и деревьях. Мне не велено править ими, но пока они были юны, я правила всем остальным. Я сделала этот мир круглым, когда он вышел из Арбола. Я спряла воздух вокруг него и выткала свод. Я сложила неподвижные земли и священную гору, как научил меня Малельдил. Все, что поет, и все, что летает, и все, что плавает на моей груди, и все, что ползет и прокладывает путь внутри меня — было моим. Ныне все это взяли у меня. Благословенно имя Его!

— Сын Адама не поймет тебя, — сказал повелитель Малакандры. — Он думает, что для тебя это горестно.

— Он так не говорил, Малакандра.

— Да, не говорил. Есть и такая странность у детей Адама. Они немного помолчали, потом Малакандра обратился к Рэнсому:

— Ты лучше поймешь это, если сравнишь с чем-нибудь в вашем мире.

— Я думаю, что понял, — сказал Рэнсом. — Одна из притч Малельдила научила нас. Так становятся взрослыми дети славного дома. Тех, кто заботился об их богатствах, они, быть может, и не видели, но теперь те приходят, отдают им все, и вручают ключи.

— Ты понял хорошо, — сказала Переландра. — Так поющее созданье покидает немую кормилицу.

— Поющее? — переспросил Рэнсом. — Расскажи о нем побольше.

— У них нет молока, их детенышей вскармливает самка другого вида. Она большая, красивая и немая. Пока детеныш сосет молоко, он растет вместе с ее детьми и слушается ее. Когда он вырастает, он становится самым прекрасным из всех созданий и покидает ее. А она дивится его песне.

— Зачем Малельдил это сделал? — спросил Рэнсом.

— Спроси, зачем Малельдил создал меня, — отвечала Переландра. — Достаточно сказать, что их повадки многому научат моего Короля и мою Королеву и их детей. Но час пробил, и об этом довольно.

— Какой час? — спросил Рэнсом.

— Настало утро, — сказал один из голосов или оба голоса. Было тут и что-то большее, чем звуки, и сердце у него быстро забилось.

— Утро? — спросил он. — Значит, все в порядке? Королева нашла Короля?

— Мир родился сегодня, — сказал Малакандра. — Сегодня впервые существа из нижнего мира, образы Малельдила, рождающиеся и дышащие, как звери, прошли ту ступень, на которой пали ваши предки, и воссели на троне, который им уготован. Такого еще не бывало. Такого не было в твоем мире.

Свершилось лучшее, величайшее, но не это. И потому, что великое свершилось там, это, иное, свершилось здесь.

— Элвин падает наземь, — сказал другой голос.

— Успокойся, — сказал Малакандра, — это не твой подвиг. Ты не велик, хотя сумел предотвра-

тить столь ужасное дело, что давятся Глубокие Небеса. Утешься, сын Адама, в своей малости. Он не отягощает тебя заслугой. Принимай и радуйся. Не бойся, что твои плечи понесут тяжесть этого мира. Смотри! Он — под тобою и несет тебя.

— Они сюда придут? — спросил Рэнсом немного спустя.

— Они ухе поднялись высоко на гору, — сказала Переландра, — и час настал. Пора создать наш облик. Им трудно видеть нас, когда мы такие, как мы есть.

— Прекрасно сказано, — откликнулся Малакандра. — В каком же виде следует нам предстать, чтобы почтить их?

— Предстанем перед сыном Адама, — сказал другой голос. — Он человек и может объяснить нам, что приятно их чувствам.

— Я вижу… я различаю что-то и сейчас, — сказал Рэнсом.

— Разве должен Король напрягать глаза, чтобы увидеть тех, кто почтит его? — возразил владыка Переландры. — Посмотри вот на это.

Очень слабый свет, какой-то сдвиг в самом зрении значил, вероятно, что эльдалы исчезли. Исчезли и алые скалы, и тихое озеро. Потом на Рэнсома обрушился шквал поистине диких пред-

метов. Колонны, усеянные глазами, вспышки огня, когти, клювы, огромные снежинки самой странной формы летели в черную пустоту. «Хватит! Не могу!» — возопил Рэнсом — и все исчезло. Моргая, он оглядел алую лужайку и сказал эльдилам, что такое человеку не вынести. «Тогда посмотри вот на это», — вновь откликнулись оба голоса. Он взглянул без особой охоты — и на другой стороне долинки показались два колеса. Просто катились колеса, одно внутри другого, очень медленно. В них не било ничего ужасного, разве что размер, — но не было и смысла. Рэнсом попросил попробовать в третий раз. И вдруг перед ним, по ту сторону озера, выросли две человеческие фигуры.

Они были выше сорнов — гигантов, которых он видел на Марсе. Их рост достигал тридцати футов. Они были раскаленно-белыми, как железо в горне. Очертания их на фоне алых цветов были чуть-чуть изменчивы, текучи, словно постоянство формы поддерживалось стремительным движением материи. как в водопаде или в языках пламени. По краю шла прозрачная кромка, в полдюйма толщиной, сквозь нее был виден пейзаж, внутри же тела уже не пропускали света.

Пока Рэнсом глядел только на них, он видел,

что они мчатся к нему со сверхъестественной скоростью; переведя взгляд, он понял, что они стоят на месте. Заблуждение это отчасти объясняется тем, что длинные сверкающие волосы отлетали назад, словно их отбросил сильный встречный ветер, но если ветер и был, то какой-то особый, ибо лепестки цветов не шевельнулись. Стояли тела не совсем вертикально, не под прямым углом, а Рэнсому казалось (как мне показалось на Земле), что косо, под углом легла им под ноги Переландра. Он вспомнил, как Уарса говорил ему: «Я здесь не в том же смысле, что ты». Эльдилы в самом деле двигались, но не по отношению к нему. Пока он на этой планете, она, конечно, — его мир, не подвижный, даже единственный, а вот для них она движется в глубине небес. В своей системе движения они должны мчаться вперед, чтобы устоять на месте. Если б они стояли тихо, их отбросило бы и вращенье планеты, и ее движение вокруг Солнца.

Рэнсом говорил, что их тела были белыми, а выше плеч начиналось разноцветное сияние, заливало лицо и шею и окружало голову, словно перья или нимб. Он сказал мне, что помнит эти цвета, то есть узнал бы их, если бы вновь увидел, но никаким усилием памяти не может их

представить. Те немногие, с кем мы могли это обсудить, дают одно и то же объяснение: вероятно, сверхъестественные существа, являясь нам, воздействуют не на сетчатку глаза, а напрямую возбуждают зрительные центры мозга. Если это так, вполне возможно, мы испытываем именно то, что видели бы, если бы воспринимали цвета, выходящие за пределы спектра. Плюмаж или нимб у эльдилов был разный. Малакандра сиял холодным утренним светом с металлическим оттенком, чистым и ясным. У Переландры сияние было мягкое, теплое, напоминавшее, скажем, о пышном букете цветов.

Рэнсома удивили их лица — очень уж были они непохожи на привычных «ангелов». В них не было той сложности, изменчивости, того намека на скрытые возможности, которые так притягивают нас в человеческом лице. Они не менялись, и выражение их было так отчетливо, что он с трудом на них смотрел. В этом смысле они были примитивны, неестественны, как очень древние греческие статуэтки. Рэнсом не знал, что означает такое выражение лица и решил наконец, что это милосердие. Но оно было до удивления, до ужаса непохоже на здешнее милосердие, наше, которое рождается из чувства или спешит выразиться в

нем. Здесь никаких чувств не было, и даже следа того, что чувствовали хоть миллионы лет назад, даже зародыша того, что почувствуют в самом далеком будущем. Чистая, духовная, умная любовь сияла на этих лицах и просто била в глаза, как обнаженный свет. Это было так не похоже на земную любовь, что могло показаться жестокостью.

Оба тела были обнажены. Половых признаков не было — ни первичных, ни вторичных. Казалось бы, это не удивительно — но почему же тогда они все же разные? Рэнсом снова и снова пытался — и ни разу не смог сказать, в чем же именно эта разница; но она была. Он сравнивал Малакандру с ритмом, а Переландру — с мелодией. Он говорил, что Малакандра похож на тонический стих, а Переландра — на силлабический. В руках Малакандры ему мерещилось копье, руки Переландры были раскрыты ладонями к нему. По-моему, это ничего не объясняет. Во всяком случае, Рэнсом узнал, что такое род. Люди часто гадают, почему во многих языках неодушевленные предметы различаются по роду. Почему утес — мужского рода, а гора — женского? Рэнсом сказал мне, что это не чисто грамматическое явление, зависящее от формы слова, и не распространение наших полов на неодушевленный мир. Наши предки

говорили об утесе «он» не потому, что приписали ему мужские признаки. Все было наоборот: род — первичная реальность, пол — вторичная. Полярность, присущая всему сотворенному миру, проявляется в органической жизни как пол, но это лишь одно из многих ее проявлений. Мужской и женский род — это не поблекший пол, напротив, пол животных — слабое отражение той, основной полярности. Роль в размножении, слабость, сила лишь отчасти отражают — а отчасти и заслоняют ее. Все это Рэнсом увидел собственными глазами. Оба существа перед ним были бесполы. Но Малакандра, без всяких сомнений, был мужского рода (не пола!), Переландра — женского. Малакандра как бы стоял во всеоружии на страже своего древнего мира, вечно бодрствуя, вглядываясь туда, откуда однажды пришла гибель. «Взгляд как у моряка, — говорил мне Рэнсом. — Ну, понимаете… глаза устали смотреть вдаль. А у Переландры глаза глядели сюда, вот сюда, в ее собственный мир волн и лепета и ветра, мир жизни, парящей в воздухе, мягко падавшей на мшистые камни, выпадавшей в росе, поднимавшейся с тумаками к солнцу. На Марсе и леса были каменные; на Венере сама земля плыла». Рэнсом уже не называл их Мала-

кандрой и Переландрой, он вспомнил их земные имена. Все больше дивясь, он повторял: «Глаза мои видели Марса и Венеру, Ареса и Афродиту». Он спросил их, как узнали о них древние поэты Земли. Откуда услышали дети Адама, «по Марс был воином, Афродита родилась из пены морской? Ведь Враг захватил Землю еще до начала человеческой истории. Богам там нечего было делать. Откуда же мы знаем о них? Они ответили, что знание приходит на Землю кружным путем и через многих посредников. Космос — не только пространство, но и разум. Вселенная едина, это — сеть, где каждый разум соединен со всеми, цепочка вестей, где нет и не может быть секретов, разве что Малельдил строго прикажет хранить тайну. Конечно, проходя по цепи, вести искажаются, но не пропадают. В разуме падшего эльдила, захватившего нашу Землю, по-прежнему жива память о прежних товарищах. Само вещество нашего мира хранит общую память — она таится в пещерах, звенит в воздухе. Музы на самом деле есть. Легчайший вздох, говорил Вергилий, достигает грядущих поколений. Основания нашей мифологии прочнее, чем мы думаем, и все же она очень и очень далека от правды. Тут Рэнсом и понял, почему мифология — именно такая: ведь

искры небесной силы и красоты падают в болото грязи и глупости. Он мучительно покраснел — ему стало стыдно за людей, когда он взглянул на подлинного Марса и подлинную Венеру, и вспомнил, что рассказывают о них на Земле. Вдруг сомнение коснулось его.

— Вижу ли я вас такими, какие вы есть?

— Только Малельдил видит Свое создание, как оно есть, — ответил Марс.

— А как вы видите друг друга? — спросил Рэнсом.

— Твоему разуму не вместить ответа, — сказали они.

— Значит, мне открыта лишь видимость? Вы совсем не такие?

— Все, что дано тебе, лишь видимость. Ты знаешь только видимость, а не солнце, не камень, не собственное тело. То, что ты видишь сейчас, так же подлинно, как и все остальное.

— Но ведь… вы только что появлялись в других обликах.

— Нет. Это были просто неудачные попытки.

— Я не понимаю, — настаивал Рэнсом. — То, что я видел раньше, все эти глаза и колеса — истинней вот этого?

— В твоем вопросе нет смысла, — сказал Марс. —

Ты видишь камень, если не слишком далеко от него и ваши скорости не слишком различны. Но что ты увидишь, если камень кинут тебе в глаз?

— Я почувствую боль и увижу какие-то пятна, — ответил Рэнсом. — Но я не назову их камнем.

— Однако это камень воздействует на твой глаз. Вот и все. Просто сейчас мы на правильном расстоянии.

— А вначале вы были ближе?

— Я не о том.

— И все же, Малакандра, — продолжал Рэнсом, — я думал, что твой обычный облик — тот слабый свет, который я видел в твоем мире. Что же это было?

— Этого хватало, чтобы нам говорить с тобой. Больше ничего и не требовалось, не требуется и сейчас. Но мы хотим почтить Короля. Слабый свет — в мире твоих чувств эхо или отголосок облика, в котором мы обычно являемся друг другу или старшим эльдилам.

В этот миг Рэнсом услышал за спиной странный шум — беспорядочные, торопливые звуки ворвались в молчание гор и перебили чистые голоса богов приветливым шумом животной жизни. Рэнсом оглянулся. Бегом и ползком, скача и прыгая, катясь, скользя, шурша, словом — все-

ми мыслимыми способами, в долину ворвались бесчисленные звери и птицы всех размеров и расцветок. Двигались они попарно, самец и самка, играя друг с другом, гоняясь друг за другом, забираясь друг другу на спину, проползая под брюхом, хватая за хвост. Пылающие перья, золоченые клювы, лоснящиеся спины, влажные глаза, красные пещеры разинутых пастей, заросли хвостов окружили его со всех сторон. «Ноев ковчег, — подумал он и добавил уже всерьез: — А впрочем, ковчег здесь не потребуется».

Почти оглушительно зазвучала ликующая песнь четырех поющих созданий. Переландра отгоняла животных и птиц на одну сторону озера, другая сторона оставалась пустой, если не считать белого саркофага. Рэнсом не совсем понимал, говорит ли она что-то, и вообще замечают ли ее все эти твари. Может быть, ее отношения с ними гораздо тоньше, совсем иные, чем между такими же тварями и Королевой. Оба эльдила перешли сюда, к нему. И они, и Рэнсом, и все твари глядели теперь в одну сторону. Все обретало какой-то строгий лад — на самом берегу стояли эльдилы; между ними, чуть позади, сидел среди цветов Рэнсом; дальше, сидя по-собачьи, пели поющие созданья, возвещая радость всем, кто имеет уши;

а уж за ними расположились остальные. Все это уже походило на торжественную церемонию. Ждать было нелегко и, по глупой человеческой привычке, Рэнсом спросил, просто так, ни для чего:

— Как же они успеют вернуться отсюда до ночи?

Никто не ответил. Ему и не нужен был ответ. Он откуда-то знал, что эта земля и не была запретной, а единственная цель запрета на другие земли — привести Короля с Королевой сюда, к назначенному им престолу. Вместо ответа боги сказали: «Молчи».

Глаза его так привыкли к мягкому свету Переландры, что он уже не отличал его от яркого земного дня. Поэтому он с изумлением увидел, как горы на той стороне долины потемнели, словно за ними начиналась наша, земная заря. Через мгновение по земле пролегли четко очерченные тени, длинные, как тени раннего утра, и у каждой твари, у каждой горы, у каждого цветка появилась темная и светлая сторона. Свет поднимался по склону горы, свет заполнял долину. Тени исчезли. Воцарился дневной свет, идущий неведомо откуда. Рэнсом узнал и запомнил, как свет покоится на святыне, но не исходит от нее.

Свет достиг совершенства и замер покойно, как король на престоле, как вино в кубке. Он наполнил цветущую чашу долины, он наполнил все и осветил святая святых, самый рай в двух лицах. Двое шли рука об руку. Сияя, как изумруды, блеск не мешал смотреть, — они вышли из прохода между двумя горами и застыли на мгновенье. Мужчина поднял руку, приветствуя подданных, как царь, и благословляя их, как жрец. Они прошли еще несколько шагов, остановились по ту сторону озера и боги опустились на колени, сгибая высокие тела перед маленькими фигурками Короля и Королевы.

ГЛАВА 17

На вершине горы наступило великое молчание, и Рэнсом пал ниц перед царственной четой. Когда он поднял глаза, он заговорил почти против воли, и голос его звучал надтреснуто, глаза застлал туман.

— Не уходите, не покидайте меня, — сказал он. — Я никогда еще не видел ни мужчину, ни женщину. Я прожил жизнь среди теней и разбитых слепков. Отец мой и Мать, Господин мой и Госпожа, не уходите, не отвечайте мне. Я не видел ни отца, ни матери. Примите меня в сыновья. Мы долго были одиноки там, в нашем мире.

Глаза Королевы смотрели на него приветливо и нежно, но не о ней он думал. И впрямь, нелегко было думать о ком-то, кроме Короля. Как опишу его я, когда я его не видел? Даже Рэнсом с трудом объяснял, каким было это лицо. Но я не посмею скрыть правду. Это лицо знакомо каждому человеку. Вы вправе спросить, можно ли взглянуть на это лицо и не впасть в грех идолопоклонства, не принять образ и подобие за Самого Господа? Настолько сильным было сходство, что вы удив-

лялись, пусть мгновенье, не видя скорби на челе и ран на теле. И все же ошибки быть не могло, никто бы не спутал созданье с Создателем и не воздал бы ему неподобающую почесть. Да, чем больше было сходство, тем меньше — возможность ошибиться. Наверное, так бывает всегда. Мы примем за человека высокую куклу, но не портрет, написанный великим мастером, хотя он гораздо больше похож. Статуям нередко поклоняются так, как следует поклоняться Подлиннику. Но этот живой образ Создателя, подобный Ему изнутри и снаружи; созданный Его руками, Его великим мастерством, автопортрет из Его мастерской, призванный поразить и порадовать все миры, двигался и говорил здесь и сейчас; и Рэнсом знал, что это — не Подлинник. Что там, сама красота его была в том, что он только похож, что он — копия, эхо, дивный отзвук нетварной музыки в тварном создании.

Рэнсом растерялся, удивился и, когда пришел в себя, услышал голос Переландры, заканчивавшей, видимо, длинную речь. Она говорила:

— Плывущую землю и твердую землю, воздух и завесу Глубокого Неба, море и Святую Гору, реки наверху и реки под землей, огонь и рыб, птиц и зверей и те водные творенья, которых ты

еще не знаешь, — все это Малельдил передает под твою руку, с этого дня, на всю твою жизнь, и дальше, дальше. Отныне мое слово — ничто, твое — неотменимо, ибо оно — дитя Его Слова. Весь мир, весь круг, совершаемый этой планетой — твой, и ты здесь — Уарса. Радуйся ему. Дай имя всем тварям и веди их к совершенству. Подбодри слабого, просвети темного и люби всех. Слава вам, Мужчина и Женщина, Уарса Переландры, Адам, Венец, Тор и Тинидриль, Бару и Баруа, Аск и Эмбла, Ятсур и Ятсура, любимые Малельдилом, благословенно имя Его!

Король начал свой ответ, и Рэнсом вновь осмелился взглянуть на него. Чета сидела теперь на берегу озера. Свет был так ярок, что отраженье было чистым и ясным, как у нас, На Земле.

— Мы воздаем благодарность тебе, кормилица, — говорил Король, — мы благодарим тебя за этот мир, который ты творила много столетий как верная рука Малельдила, чтобы он ждал нас, когда мы проснемся. До сих пор мы не знали тебя. Мы часто гадали, чью же руку видим в высоких волнах и веселых островах, чье дыхание чувствуем в утреннем ветре. Мы были молоды, но мы догадывались, что говоря: «Это сделал Малельдил», — мы говорим правду, но не всю. Мы

получили этот мир, и радость наша тем больше, что это и Его подарок и твой. Чего же Он хочет от тебя теперь?

— Того, чего захочешь ты, Тор-Уарса, — ответила Переландра. — Я могу уйти в Глубокие Небеса, а могу быть и здесь, в твоем мире.

— Я хочу, чтобы ты осталась с нами, — сказал Король, — и ради той любви, которую мы к тебе питаем, и ради тех советов, которыми ты укрепишь нас. Наш мир совершит еще много оборотов вокруг Арбола прежде чем мы сумеем по-настоящему править землей, врученной нам Малельдилом. Пока еще мы не можем вести этот мир в небе, управлять дождем и ветром. Если тебе не трудно, останься.

— Я очень рада, — ответила Переландра.

Беседа продолжалась, а Рэнсом все дивился тому, что разница между людьми и эльдилами не нарушает дивного лада. Вот чистые, хрустальные голоса и неподвижные мраморные лица; вот плоть и кровь, улыбка на устах, сиянье глаз, мощь мужских плеч, чудо женской груди, слава мужества и полнота женственности, неведомые на Земле. И все же, когда они рядом, ангелы не призрачны, люди — преисполнены животной, плотской жизнью. Он вспомнил старое опреде-

ление человека — «разумное животное». Только теперь он увидел жизнь, наделенную разумом. Он увидел Рай, он увидел Короля с Королевой, и они разрешили противоречие, стали мостом через бездну, замковым камнем в своде творенья. Они вошли в эту долину и сомкнулась цепь — теплое животное тело зверей, стоявших у него за спиной, и бестелесный разум ангелов, стоявших перед ним. Они замкнули круг, и разрозненные ноты мощи и красоты зазвучали единой мелодией. Теперь говорил Король.

— Это не только дар Малельдила, но и твой, — сказал он, — Малельдил даст его через тебя и еще через одного посредника, и потому этот дар вдвое, нет — втрое прекраснее и богаче. И вот мой первый указ, первое слово Уарсы: до тех пор, пока стоит наш мир, каждое утро, каждый вечер и мы, и все дети наши будем говорить Малельдилу о Рэнсоме с Тулкандры, напоминать о нем друг другу и хвалить. Ты, Рэнсом, назвал нас Господином и Госпожой, Отцом и Матерью. Верно, это — наши имена. Но в ином смысле мы назовем тебя Отцом и Господином. Малельдил послал тебя в наш мир, когда кончилась наша юность, и теперь мы пойдем дальше, вверх или вниз, к гибели или к совершенству. Малельдил привел нас туда, куда

пожелал, но главным Его орудием был ты.

Они велели ему перейти через озеро, к ним, — вода была только по колено. Он хотел снова пасть перед ними, но они не позволили. Король и Королева поднялись ему навстречу, обняли его, поцеловали, как равного — сердце к сердцу, уста к устам. Они хотели, чтобы он сел между ними, но увидев его смущение, не стали настаивать. Он сел у их ног на землю, чуть-чуть левее, и видел оттуда высоких ангелов и диковинных зверей. Теперь заговорила Королева:

— Как только ты увел Злого, — сказала она, — а я проснулась, разум мой прояснился, и я удивилась, как молоды были мы с тобою все эти дни. Ведь запрет очень прост. Я хотела остаться на Твердой Земле только потому, что она неподвижна. Там я могла бы решать, где проведу завтрашний день. Я бы уже не плыла по течению, я вырвала бы руку из руки Малельдила, я сказала бы «не по-Твоему, а по-моему», и своей властью решала бы то, что должно принести нам время. Это все равно, что запасаться плодами на завтра, когда можно найти их утром на дереве и снова за них поблагодарить. Какая же это любовь, какое доверие? Как выбрались бы мы вновь к настоящей любви и вере?

— Я понимаю, — сказал Рэнсом. — Правда, в моем мире тебя назвали бы легкомысленной. Мы так долго творили зло… — Тут он запнулся, не зная, поймут ли его, и удивляясь, что он произнес на их языке слово, которого вроде бы не слыхал ни на Марсе, ни на Венере.

— Теперь мы знаем это, — сказал Король. — Малельдил открыл нам все, что произошло в вашем мире. Мы узнали о зле, но не так, как хотел Злой. Мы узнали и поняли зло гораздо лучше — ведь бодрствующий поймет сон, а спящий не поймет яви. Пока мы были молоды, мы не знали, что такое зло, но еще меньше знают о нем те, кто его творит — ведь человек во сне забывает то, что он знает о снах. Теперь вы на Тулкандре знаете о нем меньше, чем знали ваши Отец и Мать, пока не стали творить его. Но Малельдил рассеял наше невежество, и мы не впали в вашу тьму. Сам Злой стал Его орудием. Как мало знал этот темный разум, зачем он прилетел на Переландру!

— Прости мне мою глупость, Отец, — сказал Рэнсом. — Я понимаю, как все узнала Королева, но хотел бы услышать и о тебе.

Король рассмеялся. Он был высок и могуч, и смех его походил на землетрясение. Смеялся он долго и громко, пока не расхохотался и Рэнсом,

сам не зная, почему, и вместе с ними смеялась Королева. Птицы захлопали крыльями, звери завиляли хвостами, свет стал ярче и всех охватила радость, неведомая на Земле, подобная небесному танцу или музыке сфер. Некоторые полагают, что это — не подобие, а тождество.

— Я знаю, о чем думает Пятнистый, — сказал Король Королеве. — Он думает, что ты страдала и боролась, а я получил целый мир даром. — Тут он обернулся к Рэнсому. — Ты прав, — сказал он, — теперь я знаю, что говорят там, у вас, о справедливости. Так и надо, ведь на Земле вечно падают ниже нее. А Малельдил — выше. Все, что мы получаем — дар. Я — Уарса, и это подарок не только Его, но и нашей кормилицы, и твой, и моей жены, и птиц, и зверей. Многие вручают мне этот дар, и он становится стократ дороже от вложенных в него трудов и любви. Таков Закон. Лучшие плоды срывает для тебя чужая рука.

— И потом, это не все, Пятнистый, — заговорила Королева. — Малельдил перенес Короля далеко, на остров в зеленом океане, где деревья растут прямо со дна сквозь волны…

— Имя ему — Лур, — сказал Король.

— Имя ему — Лур, — повторили эльдилы, и Рэнсом понял, что Король не уточнял слова Коро-

левы, а дал острову имя.

— И там на Луре, далеко отсюда, — сказала Королева, — произошли удивительные вещи.

— Можно спросить, какие? — откликнулся Рэнсом.

— Много всего было, — сказал король Тор. — Много часов я изучал фигуры и формы, чертя их на песке. Много часов узнавал я то, чего не знал о Малельдиле, о Его Отце и о Третьем. Мы мало знали об этом, пока были молоды. Потом Он показал мне во мраке, что происходит с Королевой, и я знал, что она может пасть. А еще позже я узнал, что произошло в твоем мире, как пала твоя Мать, а твой Отец последовал за ней и не помог этим ей, а детям своим — повредил. И я словно должен был решить… решить, что сделал бы я. Так я узнал о Добре и Зле, о скорби и радости.

Рэнсом надеялся, что Король скажет, как он принимал решение, но тот задумался, умолк, и он не посмел задать новый вопрос.

— Да, — медленно заговорил Король. — Даже если человек будет разорван надвое… если половина его станет прахом… та половина, что останется жить, должна идти за Малельдилом. Ведь если и она погибнет, станет прахом, на что же надеяться целому? А пока хоть одна половина

жива, Малельдил может через нее спасти и другую. — Он замолчал надолго, потом проговорил гораздо быстрее: — Он не давал мне никаких гарантий. Твердой Земли нет. Бросайся в волны и плыви, куда несет волна. Иначе не бывает. — Тут чело его прояснилось, и голос его окреп. Он обратился к эльдилам:

— Кормилица, — сказал он,—мы и вправду нуждаемся в твоих советах. Тела наши сильны, а мудрость еще совсем юна. Мы не всегда будем прикованы к низшему миру. Слушайте второй завет, который я произношу как король Тор, Уарса Переландры. Пока этот мир не совершит вокруг Арбола десять тысяч оборотов, мы будем судить с наших престолов и ободрять наш народ. Имя этому месту — Таи Харендримар, Гора жизни.

— Имя ему — Таи Харендримар, — откликнулись эльдилы.

— На Твердой Земле, которая была запретной, — продолжал король Тор, — мы устроим большой храм во славу Малельдила. Наши сыновья изогнут столпы скал в арки…

— Что такое арки? — спросила Королева Тинидриль.

— Арки, — ответил король Тор, — это ветви каменных столпов, которые встретились друг

с другом, а наверху у них крона, только вместо листьев — обработанные камни. И наши сыновья изготовят изображения…

— Что такое изображения? — спросила Тинидриль.

— Клянусь славой Небес! — воскликнул Король и рассмеялся. — Кажется, здесь, у нас, слишком много новых слов. Я думал, все они попали ко мне из твоих мыслей, а ты вот их и не знаешь. И все же я думаю, Малельдил передает мне их через тебя. Я покажу тебе изображенья, я покажу тебе дома. Быть может, здесь мое и твое естество меняются местами, и зачинаешь ты, а я — рождаю. Но поговорим о более простых делах. Этот мир мы заселим своими детьми. Мы узнаем его глубины. Лучших из зверей мы сделаем такими мудрыми, что они уподобятся хнау и обретут речь. Они пробудятся к новой жизни вместе с нами, как мы пробудились с Малельдилом. Когда исполнятся сроки и десять тысяч оборотов подойдут к концу, мы снимем завесу Небес, и наши дети увидят глубины неба, как видим мы деревья и волны.

— Что же будет потом? — спросил Малакандра.

— Потом, по воле Малельдила, мы освободимся от нижнего мира. Наши тела станут другими, но изменится не все. Мы станем как эльдилы, но

не совсем. И так изменятся все наши сыновья и дочери, когда придет полнота времен и детей наших станет столько, сколько должно их быть по замыслу, который Малельдил прочел в разуме Своего Отца до того, как потекло время.

— И это будет конец? — спросил Рэнсом.

Король сурово посмотрел на него.

— Конец? — переспросил он. — Что же кончится?

— Твой мир, — отвечают Рэнсом.

— Силы небесные! — воскликнул Тор. — Как отличаются твои мысли от наших. Скорее уж тогда все начнется. Но прежде, чем придет настоящее начало, надо будет уладить еще одно.

— Что же? — спросил Рэнсом.

— Твой мир, — ответил Тор, — Тулкандру. Прежде, чем придет настоящее начало, твой мир надо освободить, стереть черное пятно. В те дни Сам Малельдил выйдет на бой — и в нас, и во многих, кто был хнау там, у вас, и в тех, кто был хнау в других мирах, и во многих эльдилах явит Он Свою силу, и наконец Он Сам придет на Тулкандру. Я думаю, Малакандра, мы с тобой будем среди первых. Сперва мы разрушим Луну — оплот темного князя, его щит, на котором видны шрамы от многих ударов. Мы разобьем ее и осколки

падут на Землю, и от Земли поднимется дым, так что в эти дни обитатели Тулкандры уже не увидят свет Арбола. И чем ближе будет Малельдил, тем явственней станут темные силы твоего мира, чума и война пожрут там моря и земли. Но в конце концов все очистится, вы забудете о вашем темном Уарсе, и мир твой станет светлым и радостным, воссоединившись со всем кругом Арбола, и вновь назовется своим подлинным именем. Неужто вы на Тулкандре никогда не слышали об этом? Неужели вы думали, что ваш мир навсегда останется добычей Темного Князя?

— Мало кто думает об этом, — откликнулся Рэнсом. — Немногие еще хранят это знание, но я не сразу понял тебя, потому что ты назвал началом то, что мы привыкли называть Концом света.

— Это не самое начало, — ответил Король. — Это правильное начало, и ради него надо забыть то, неверное, чтобы мир начался по-настоящему. Если человек ляжет спать и почувствует под боком корягу, он проснется, устроится иначе — и тогда уж заснет как следует. Отправившись в путь, можно сделать неверный шаг — и поправиться, и пойти куда нужно; тогда путь и начнется. Неужели ты назовешь это концом?

— И к этому сводится история моего рода? —

спросил Рэнсом.

— Вся история Нижнего Мира — только начало, — ответил Король, — а история твоего мира — к тому же начало неудачное. Ты ждешь вечера, а еще не наступило утро. Я положил десять тысяч лет на приуготовление — я, первый в своем роде, а род мой — первый род Начала. Когда младший из моих детей станет взрослым и наша взрослая мудрость распространится по Нижнему Миру, только тогда приблизится Утро.

— Я полон сомнений и страха, — сказал Рэнсом. — В нашем мире те, кто верит в Малельдила, верит и в то, что Его приход к нам в облике Человека был главным из всего, что было. Если ты отнимешь у меня и это, что же останется мне? Враг отбрасывал мой мир в дальний жалкий угол и давал мне взамен Вселенную без центра, со множеством и множеством миров, которые никуда не ведут или — что гораздо хуже — ведут ко все новым мирам. Он явил мне бессмысленные числа, пустое пространство, вечные повторенья, чтобы я склонился перед величиной. Неужели ты скажешь, что центр — в твоем мире? А жители Малакандры? Разве и они не поставят в центр свой собственный мир? Да и в самом ли деле этот мир — твой? Ты родился вчера, а он древен. Он

почти целиком состоит из воды, где ты жить не можешь. А как же все то, что под оболочкой, в глубине? Кому принадлежит та пустота, где нет ни одной планеты? Что же возразить Врагу, когда он говорит, что во всем этом нет ни замысла, ни цели? Только я увижу цель, как она превращается в ничто, в иную цель, о которой я и не думал, и то, что было центром, становится обочиной, и так все время, пока мы не поверим, что любой план, любой узор, любой замысел — только обман глаз, слишком долго высматривавших надежду. К чему все это? О каком утре ты говоришь? Что с него начнется?

— Великая игра, — отвечал король Тор, — Великий танец. Я еще мало знаю о нем. Пусть скажут эльдилы.

Рэнсом услышал голос, который показался ему голосом Марса, но он не был уверен. Тут же присоединился другой голос, его Рэнсом узнать не смог. Начался странный разговор, в котором Рэнсом не различал, какие слова произносит он сам, какие — кто-то из собеседников; какие — человек, а какие — эльдилы. Речь сменяла одна другую — если, конечно, не звучали все сразу, — словно играли пять инструментов или ветер колебал кроны пяти деревьев на высоком холме.

— Мы не так говорим об этом, — сказал первый голос. — Великий Танец не ждет, пока присоединятся и жители Нижних Миров. Он начался до начала времен и всегда был совершенен. Мы всегда ликовали пред Ликом Его, как ликуем сейчас. Там, где мы танцуем, и есть центр мира и все сотворено ради этого танца. Благословенно имя Его!

Второй голос сказал:

— Ни разу не сотворил Он двух подобных вещей, не произнес одно слово дважды. Он сотворил миры, а вслед — не новые, лучшие миры, но тварей. После тварей Он создал не новые твари, но людей. После падения — не исцеление, а иное, новое. Теперь переменится сам образ перемен. Благословенно имя Его!

— Это исполнено справедливости, как дерево полно плодов, — сказал еще один голос. — Все праведно, но не равно. Камни не ложатся бок о бок, но держат друг друга, как в арке, — таков Его закон. Приказ — и повиновение, зачатие — и порождение, тепло нисходит с неба, жизнь стремится вверх. Благословенно имя Его!

И четвертый голос:

— Можно слагать к годам годы, милю к миле, галактику к галактике — и не приблизиться к

Его величию. Минет день, отпущенный Арболу, и даже дни Глубоких Небес все сочтены. Не тем Он велик. Он обитает в семени меньшего из цветов, и оно не тесно Ему. Он объемлет Небеса — и они не велики для Него. Благословенно имя Его!

— У каждой природы свой предел, которым кончается сходство. Из многих точек — линия, из многих линий — плоскость, из плоскостей — тело. Из многих чувств и мыслей — одна личность, из трех Лиц — Он. Как круг относится к сфере, относятся древние миры, не нуждавшиеся в искуплении, к миру, ради которого Он родился и умер. Но как точка относится к линии, так этот мир — к дальним плодам Его искупления. Благословенно имя Его.

— Однако круг так же совершенен, как сфера, а сфера — дом и родина круга. Неисчислимы круги, заключенные в каждую сферу. Дай им голос, и скажут: ради нас она создана, — и никто не посмеет им возразить. Благословенно имя Его!

— Народы древних миров не грешили и к ним не сходил Малельдил. Для них и созданы нижние миры. Исцелена рана, исправлен вывих, пришла новая слава, но не ради кривизны создавалось прямое и не для раны — здоровое. Древние народы — в центре мира. Благословенно имя Его!

— Все вне Великого Танца создано ради того, чтобы принять Малельдила. В падшем мире облекся Он телом и сочетался с прахом и прославил его вовеки. Это конечная цель всего творения и счастливым назван тот грех, а мир, где это случилось, — центр всех миров. Благословенно имя Его!

— Дерево Он посадил в том мире, плоды его созрели в этом. Жизнь Темного мира смешана с кровью, здесь мы познаем чистую жизнь. Первые беды миновали, течение стало глубоким и полным, устремившись к океану. Вот утренняя звезда, которую Он обещал тому, кто побеждает. Труба прозвучала и войско готово к походу. Благословенно имя Его!

— Люди и ангелы правят мирами, но миры эти созданы ради самих миров. Воды, и которых ты не плавал, плод, который ты не сорвал, пещеры, в которые ты не спускался, огонь, в который ты не можешь войти, — они не нуждаются в тебе, хотя и склонятся пред тобой, когда ты достигнешь совершенства. Я кружил в Арболс, еще до тебя. И времена эти не потеряны. У них — споя песня, они не только предвестие твоих дней. И они — в центре. Успокойтесь, бессмертные дети! Не вы — голос всего сущего, и там, где вас нет,

вовсе не царит вечное молчание. Ни одна нога не ступала — и не ступит — на ледяные равнины Глунда, никто не посмотрит вниз с кольца Лурги, и Железный Дол в Нерували — пустынен и чист. Но эльдилы неустанно обходят просторы Арбола. Благословенно имя Его!

— Самый прах, распыленный в Небесах — из него сотворены все миры и все тела, — тоже в центре. Ему не нужны глаза — видеть его, ни руки — касаться его, он и так — сила и слава Малельдила. Лишь малая часть его послужила и послужит зверю, человеку и ангелу. Но всегда и повсюду, куда еще не пришли живые твари и куда ушли, и куда никогда не придут, прах этот собственной песней славит Малельдила. От Него он дальше всего, что есть, ибо нет в нем ни жизни, ни чувства, ни разума; он ближе всего, ибо нет меж ними посредника, и прах этот подобен искрам, летящим от пламени. В каждой пылинке — чистый образ Его силы. И если пылинка заговорит, она скажет: «Я в центре мира. для меня все сотворено». И никто не посмеет это оспорить. Благословенно имя Его!

— Каждая пылинка — центр. Каждый мир — центр. Все твари — центр. И древние народы, и народ, впавший в грех, и Тор, и Тинидриль, и

эльдилы. Благословенно имя Его!

— Где Малельдил, там и центр. Он — повсюду. Нет, не одна его часть — здесь, а другая — в ином месте, но всюду — весь Малельдил, даже в том, чью малость не измеришь. Нет пути из центра, разве что в злую волю, а она уж вышвырнет вон, туда, где ничто. Благословен Малельдил!

— Все сотворено для Него. Он — центр. Пока мы с Ним, и мы — центр. В Помраченном мире говорят, что каждый должен жить для всех. В Его граде все сотворено для каждого. Он умер в Помраченном мире не ради всех, а ради каждого человека. Если бы жил там только один человек, Он умер бы ради него. Все, от мельчайшей пылинки до могущественнейшего из эльдилов, — цель и венец творения и зеркало, в котором отразится Его слава и возвратится к Нему. Благословен Малельдил!

— Замысел Великого Танца полон неисчислимыми замыслами, и каждое движение в свой час совпадет с ним. Поэтому все — в центре, но никто не равен, ибо одни попадут в центр, уступив свое место, а другие — обретя его, малые вещи — ради своей малости, великие — ради величия, и все замыслы соединятся, преклонившись перед Любовью. Благословен Малельдил!

— Для Него неисчерпаем смысл всего, что Он сотворил, дабы любовь Его и слава изливались обильным потоком, который пролагает себе глубокое русло, наполняя бездонные озера и мельчайшие заводи. Они не равны, но полны они равно, и когда Любовь переполнит их, она вновь разольется в поисках новых путей. И велика нужда наша во веем, что Он создал. Любите меня, братья, ибо я бесконечно вам нужен и ради вас создан. Благословен Малельдил!

— Он не нуждается ни в чем из того, что Он создал. Эльдил нужен Ему не больше, чем прах; обитаемый мир — не больше, чем мир заброшенный. В них нет Ему пользы, ни прикупления Его славе. Никто из нас ни в чем не нуждается. Любите меня, братья, ибо я совершенно не нужен — и любовь ваша будет подобна Его любви, не связанной ни с потребностью, ни с заслугой, — чистому дару. Благословен Малельдил!

— Все от Него и ради Него. Он порождает Себя Себе на радость и видит, что это хорошо. Он — Свой же Сын, и все, что от Него, — это Он. Благословен Малельдил!

— Помраченный разум не видит замысла, ибо для него их слишком много. В здешних морях плывут острова, где мох так тонок, так плотен,

что не заметишь ни волосков, ни самой пряхи, а только гладкую ткань. Таков и Великий Танец. Заметь лишь одно движенье, и через него ты увидишь все замыслы, и его сочтешь самым главным. А то, что ты примешь главным, главное и есть. Да не оспорит это никто. Кажется, замысла нет, ибо все — замысел. Кажется, центра нет, ибо все — центр. Благословен Малельдил!

— И то, что так кажется, — тоже венец и цель. Ради этого растянул Он время и раздвинул Небеса. Если мы не узнаем тьмы, и дороги, ведущей в никуда, и неразрешимого вопроса, чему уподобим мы Бездну Отца? Благословенно, благословенно, благословенно имя Его!

И тут все как-то изменилось, словно то, что было речью, теперь обращалось к зрению. Рэнсом подумал, что видит Великий Танец, сплетенный из лент света, — они проходили друг под другом, и друг над другом, сплетаясь в причудливые арабески и хрупкие, как цветы, узоры. Каждая фигура, которую он видел, становилась средоточием, через нее воспринимал он целое, все становилось единым и простым — и вновь запутывалось, когда, взглянув на то, что он считал каймой, отточкой, фоном танца, он видел, что и это притязает на первенство, не отнимая его у

той, первой фигуры, но даже приумножая. Еще он увидел (хотя зрение здесь не при чем) мгновенные вспышки света там, где пересекались линии и, неведомо как, понял, что эти крошечные огоньки, эфемерные вспышки — исчезающие мгновенно народы, цивилизации, культуры, учения, системы, словом, все то, о чем говорит история. Сами же линии, ленты света, в которых жили и гасли миллионы частиц, принадлежали к какой-то иной природе. Постепенно Рэнсом разглядел, что почти все они — отдельные созданья, и подумал: если он прав, время Великого Танца совсем не похоже на наше время. Одни из них, самые тонкие и нежные, были теми, кого мы считаем недолговечными — цветами и бабочками, плодами, весенним ливнем, и даже (показалось ему) морской волной. Ленты пошире были созданиями, которые кажутся нам почти вечными — кристаллами, реками, звездами, горами. А ярче, светлее, блистательней всех были живые существа, хотя сияние их и цвет (иногда выходивший за пределы спектра) отличались друг от друга не меньше, чем от существ иного рода. Увидел он и абстрактные истины, а живые люди превратились в линии света, и противостояли они, вместе, частицам обобщений, вспыхиваю-

щим и гаснущим на пересечениях линий. Потом, на Земле, он этому удивился, а тогда, наверное, все это, как сказали бы мы, вышло за пределы зрения. Он рассказывал нам, что вся совокупность любовно переплетенных извивов вдруг оказалась поверхностью гораздо более сложной фигуры, уходящей в четвертое измерение, а измерение это прорвалось в иные миры. Танец все убыстрялся, линии сплетались все гуще, все больше льнули друг к другу, все ярче становилось сияние, одно измерение добавлялось к другому, и та часть Рэнсома, которая еще могла мыслить и помнить, отделилась от его зрения. И вот тогда, на вершине сложнейшего танца, в который его вовлекло, вся сложность исчезла, растворилась, как белое облачко в яркой синеве неба, и непостижимая простота, древняя и юная, как утро, открылась ему во всей своей ясности и тишине. В эту тишину, в эту приветливую свежесть он вошел именно тогда, когда отошел дальше всего от обычного нашего существования, и ему показалось, что он проснулся, очнулся, пришел в себя. Радостно вздохнув, он поглядел вокруг.

Звери ушли. Эльдилы исчезли. Тор, Тинидриль и сам он были одни в утреннем свете Переландры.

— Где же звери? — спросил он.

— У них есть свои дела, — ответила Тинидриль. — Они ушли воспитывать малышей, откладывать яйца, строить гнезда, плести паутину, рыть норы, играть, петь песни, пить и есть.

— Недолго они были здесь, — сказал Рэнсом, — ведь все еще утро.

— Да, — отвечал Тор, — другое утро другого дня.

— Мы здесь так давно? — спросил Рэнсом.

— Да, — ответил Тор. — Я только сейчас узнал. С тех пор, как мы встретились на вершине горы, Переландра совершила полный оборот вокруг Арбола.

— Мы пробыли здесь год? Целый год? — удивился Рэнсом. — Господи, что же случилось за это время в моем, темном мире! Знал ли ты, Отец, что прошло столько времени?

— Я не чувствовал, как оно шло, — ответил Тор. — Должно быть, волны времени еще не раз изменят для нас свое течение. Скоро мы сможем выбирать, подняться ли нам над ними, чтобы увидеть все разом, или преодолевать волну за волной, как раньше.

— Я думаю, — откликнулась Тинидриль, — что сегодня, когда год вернул нас на то же самое ме-

сто в небесах, эльдилы вернутся за Пятнистым, чтобы отнести его в родной мир.

— Ты права, Тинидриль, — сказал Тор; потом взглянул на Рэнсома и добавил: — Какая-то красная роса сочится у тебя из ноги.

Рэнсом поглядел и увидел, что нога все еще кровоточит.

— Да, — сказал он, — меня укусил Злой. Это хру, кровь.

— Присядь, друг, — сказал Тор, — я обмою твою ногу.

Рэнсом смутился, но Король усадил его и, опустившись перед ним на колени, взял в руки раненую ногу. Прежде чем омыть ее в озере, он вгляделся в рану.

— Значит, это хру, — сказал он. — Я никогда не видел ее. Ею Малельдил воскресил миры прежде, чем хоть один из них был создан.

Он долго смывал кровь, но рана не закрывалась.

— Значит, Пятнистый умрет? — спросила Тинидриль.

— Не думаю, — сказал Тор. — Тому из его рода, кто дышал воздухом Святой горы и утолял жажду ее водою, нелегко обрести смерть. Ведь те, кто был изгнан из рая в вашем мире, жили очень

долго, прежде чем научились умирать.

— Да, я слышал, что первые поколения жили долго, — сказал Рэнсом, — но принимал это за сказку, за поэзию и не размышлял о причине.

— Ох! — воскликнула Тинидриль. — Эльдилы вернулись за тобой.

И Рэнсом увидел не те высокие белые фигуры, которыми были для него Марс и Венера, а слабый свет. Король и Королева легко узнали эльдилов и в этом обличье — так земной король узнает своих приближенных и в обычном наряде.

Тор отпустил раненую ногу, все трос пошли к белому ящику. Крышка лежала рядом, но никому не хотелось прощаться.

— Как называется то, что мы чувствуем сейчас. Тор? — спросила Тинидриль.

— Не знаю, — отвечал Король. — Когда-нибудь я дам этому имя. Но не сегодня.

— Словно ты сорвал плод с очень толстой кожурой, — сказала Тинидриль. — Когда мы вновь встретимся в Великом Танце, радость наша будет подола сладости плода. Но кожура у него толстая, мне и не сосчитать, сколько в ней лет…

— Теперь ты знаешь, — сказал Король, — что хотел с нами сделать Злой. Если б мы послушались его, мы бы пытались съесть плод, не разгрызая

кожуры.

— И сладость его не была бы сладостью, — откликнулась Королева.

— Пора идти, — прозвучал ясный голос. Рэнсом не знал, что сказать на прощанье, опускаясь в гроб. Стенки показались снизу высокими, словно стены; над ними, как в рамке, он видел золотое небо, и лица Тора и Тинидриль, «Завяжите мне глаза», — сказал он. Король и Королева отошли, и тут же вернулись с охапками алых лилий. Оба наклонились над ним и поцеловали его. Он увидел, как поднялась, благословляя, рука, и больше уже ничего не видел в этом мире. Они засыпали, укрыли его лицо лепестками, и благоуханное облако ослепило его.

— Все ли готово? — спросил Король. — Прощай, друг и спаситель, прощай, — сказали оба голоса. — Прощай до той поры, когда мы, все трое, выйдем за пределы времени. Говори о нас Малельдилу, и мы будем говорить о тебе. Да пребудут с тобою Его сила, слава, любовь.

Он еще услышал звонкий стук опускавшейся крышки. Потом несколько мгновений различал шум того мира, от которого был уже отделен. И наконец сознание покинуло его.